



Анна Малышева
Анатолий Ковалев

—
АВАНТЮРИСТКА

ПОТЕРЯВШАЯ СЕРДЦЕ

ПРОЙТИ ПО ЛЕЗВИЮ СУДЬБЫ...

Авантюристка

Анатолий Ковалев

Потерявшая сердце

«АСТ»

2011

Ковалев А.

Потерявшая сердце / А. Ковалев — «АСТ»,
2011 — (Авантюристка)

Серия исторических романов, совместно созданных двумя известными писателями, адресована любителям авантюрного жанра и ценителям классической русской прозы. Действие второго романа происходит в 1813 году, в Санкт-Петербурге. Не найдя справедливости и правосудия в Москве, юная графиня Елена Мещерская пытается прибегнуть к покровительству вдовствующей императрицы, чтобы вернуть себе утраченное имя и состояние. Цель почти достигнута, но судьба уготовила ей новые жестокие испытания...

© Ковалев А., 2011

© АСТ, 2011

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	16
Глава третья	27
Глава четвертая	38
Глава пятая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Анна Малышева Анатолий Ковалев

Авантюристка-2. Потерявшая сердце

Глава первая

Тайные похороны и отречение от веры отцов. – Удачное утро герра Шмитке. – Незваные гости в табачной лавке

Скобяную лавку Евсевия Толмачева на Седьмой линии знали все островитяне, да и за пределами Васильевского острова шла слава о ней, а вернее, о несносном, вздорном характере ее хозяина. Евсевий Зотыч относился с недоверием ко всем без исключения покупателям, во всяком человеке усматривал какой-нибудь подвох и «злонамерение». Часто затевал перебранку в лавке и даже швырялся товаром в обидчиков. Однажды он сломал нос муромскому купцу, заехав ему в лицо тяжелым замком, какие вешают на амбары. За это Евсевий едва не попал за решетку и был присужден к штрафу в сто рублей серебром, что окончательно испортило его характер. К тому же люди начали сторониться толмачевской лавки, говоря с усмешкой: «Уж лучше целый нос, чем новый замок». И наверное, торговля его потерпела бы полный крах, если бы не одно обстоятельство, позволившее скандалисту не только удержаться на плаву, но и зажить безбедно.

Дело в том, что буйный лавочник принадлежал к тайной староверческой общине, которой руководил мудрый пастырь отец Иоил. Однажды тот собрал самых набожных и примерных прихожан, чтобы придумать, как поступить с Толмачевым, позорящим общину своим необузданным характером. «Евсевий уже пятый год вдовее. Может, оттого и дичает! – рассуждал отец Иоил. – Надо бы женить его на доброй девушке!» – «Есть одна на примете, – подал голос кто-то из братьев и тут же усомнился: – Да больно молода...»

Оказалось, где-то в трущобах на Охте недавно померли от черной оспы супруги Огарковы, оставив сиротой четырнадцатилетнюю дочь Зинаиду. Сначала девочку взяли в богатый дом кухонной прислугой, но хозяйева, распознав раскольницу, тут же вышвырнули ее вон. Зинаида нанялась в прачки, но работа не по ней тяжела, того и гляди, надорвется девчонка. «Может статься, если выдадим ее за Евсевия, совершим тем самым богоугодное дело? И сироту пристроим, и буяна умирим. Надо бы взглянуть на нее», – решил отец Иоил. Мудрому «старцу», как называли его в общине, едва перевалило за сорок, он был высок, статен и носил густую черную бороду. Маленькие, близко посаженные глазки казались лукавыми, хотя священник слыл честнейшим человеком. Официально, для властей, он содержал лавку с писчебумажным товаром, но то было лишь прикрытием. Торговля чернилами, перьями и бумагой в этой отдаленной части Васильевского острова, где жили сплошь неграмотные ремесленники, носила случайный характер и доставляла в бюджет копейки. По-настоящему отец Иоил зарабатывал на жизнь, покупая и продавая в тайной комнате за лавкой старообрядческие иконы, рукописные дониконианские Псалтири и прочие запретные реликвии. Со своих небогатых прихожан он сверх настоящей цены не брал ни копейки, зато состоятельные купцы-старообрядцы платили ему порой сотни и тысячи, желая завладеть какой-нибудь редкостью. В этой же лавке порой устраивались сборы в пользу очередного бедствующего семейства. Отцу Иоилу не раз приходилось брать на себя и роль свата. Однако на этот раз его одолевали сомнения. Евсевий разменял шестой десяток, а невеста была еще ребенком, но смущало священника не это обстоятельство, а дурной характер лавочника и слухи о его мерзких наклонностях. В общине шептались, что Евсевий довел первую жену до сумасшествия тем, что постоянно щипал ее и щекотал. Соседи по ночам слышали, как бедняжка то безудержно хохочет, то вскрикивает от боли и рыдает.

Мудрый старец пытался убедить себя в том, что Евсевий с годами образумился, что торговец, никогда не имевший детей, пожалеет сироту и будет относиться к ней по-доброму...

Увидев девочку, священник еще больше утвердился в своем мнении. Такого ангела нельзя было обидеть. Тяжелые каштановые косы Зинаиды, ее удлинённые зеленые глаза, смотревшие диковато, застенчиво, белая бархатная кожа, крошечные ручки – в изящном облике сироты было нечто аристократическое, хотя родители девочки умерли в мещанском звании. Изысканное впечатление усугубляла маленькая коричневая родинка под левым глазом в форме слезы, будто специально нарисованная. Лицо Зинаиды казалось заплаканным, и она, не сказав ни слова, уже вызывала к себе жалость.

Евсевию невеста, несмотря на хрупкость, понравилась, а Зинаиду никто и спрашивать не стал. Через месяц сыграли свадьбу. И уже на следующий день молоденькую жену Евсевия Зотыча увидели в лавке на Седьмой линии. Сначала народ просто ходил поглазеть на красавицу, попавшую в лапы чудовища. Кто-то сочувственно качал головой, иные злорадно усмехались – мол, взял старик сиротку, да как бы не наставила она ему рогов!

Зинаида быстро освоила премудрости торговли и даже внесла некоторые новшества. Например, устала полки цветами: фиалками и гиацинтами в плоских. Получилось красиво и привлекательно, и едкий запах черных смазанных замков уже не так сильно бил в нос. Вместо треснутого колокола на дверях молодая хозяйка прицепила крохотную шарманку, купленную в немецкой лавке, и та приветствовала каждого нового посетителя прекрасной, старинной мелодией. Подслеповатые, ни разу не мытые окна засверкали чистотой и были украшены воздушным вышитым тюлем. Евсевий Зотыч, вновь вкушавший прелести супружества, не сопротивлялся этим переменам, хотя поначалу ворчал: «Башкой нужно думать, Зина, а не чем-то еще! Товар у нас грязный, покупатель больше мелкий. Придет такой нищелюб, все пересчитает, измажется маслом, дегтем и оботрет руки, да не об портки, а об твою занавеску. Один, другой – и тюль хфранцузский к вечеру в тряпку превратится!» Но девушка, кроме прочих талантов, обладала еще и чудесным даром убеждения. «Не сердайте, Евсевий Зотыч, – ласково говорила она, – тюль я стираю, коли что, наутро будет как новый. А людям все же приятно смотреть на красоту!» С покупателями Зинаида была вежлива и обходительна, некоторые захаживали в лавку только ради удовольствия поприветствовать девушку и услышать в ответ доброе слово. Все это в совокупности стало приносить доход, какой раньше и не снился Толмачеву. Вскоре Евсевий Зотыч совсем обленился, сутками лежал на диване, ел в три горла да гонял почем зря девку Хавронью, свою единственную прислугу. Он заметно раздался вширь и оттого, казалось, подобрел. Отец Поил, частенько захаживавший в гости к лавочнику, находил его если не в радужном настроении, то по крайней мере в миролюбивом. Священник радовался тому, что не ошибся в своих расчетах. Он видел, как девушка надрывается с рассвета до позднего вечера в лавке и тащит на себе весь дом, но не находил в этом ничего удивительного. «Благочестивая жена так и должна жить!» – твердил он. Зинаида никогда не жаловалась и застенчиво молчала, когда он на исповеди расспрашивал ее о семейной жизни. Ее отношения с мужем оставались тайной даже для прислуги. Внешне все выглядело довольно пристойно. Во всяком случае, соседи ни разу не слышали, чтобы из дома лавочника доносились по ночам крики, рыдания или странный истеричный смех, как это было при его первой жене. «Неужели и впрямь образумился наш Евсевий?» – задавались вопросом они. Никто не догадывался, что под скромным, наглухо застегнутым платьем Зинаиды скрыто тело, испещренное синяками и кровоподтеками. Пытки в отличие от своей предшественницы она переносила молча.

Так прошло без малого шесть лет. Из слабенького подростка Зинаида превратилась в красивую стройную женщину, пышущую здоровьем. Все чаще она ловила на себе сластолюбивые взгляды мужчин. Попадались среди посетителей лавки и такие, которые без лишних церемоний делали ей пикантные предложения, на что она отвечала резко и даже грубо, ставя молодчиков на место. Старик Евсевий тоже не дремал. От него не укрылось то, что в облике

жены произошли соблазнительные изменения, и он вновь стал спускаться в лавку, чтобы следить за Зинаидой. Каждый раз его появление заканчивалось ссорой супругов. Евсевию Зотычу казалось, что жена кокетничает с покупателями, слишком часто улыбается и чересчур уступчива во время торга с некоторыми постоянными клиентами. Старик не стеснялся при посторонних выругать жену, а однажды не сдержался и ударил ее по лицу, когда в лавке было полно народу. Зинаида, всегда кроткая и терпеливая, на этот раз повела себя неожиданным образом. Она сгребла с полки деревянный молоток и что было силхватила им по лбу ревнивца. Шишка выросла не велика, но Евсений после этого случая слег в нервной горячке и не вставал с постели десять дней.

Дело было вовсе не в шишке, конечно, а в публичном оскорблении и нестерпимой обиде. Вся природа Толмачева, темная натура патриарха-истязателя была настолько потрясена отпором жены, что последствия могли оказаться самыми печальными. Доктора опасались, что горячка бросится в мозг и тогда Евсевию Зотычу ждет сумасшедший дом. Однако прогнозы докторов не оправдались, и спустя десять дней старик самостоятельно поднялся с постели в полном здравии и уме. Все эти дни его мучил один жгучий вопрос. Почему Зинаида, на протяжении шести лет покорно терпевшая истязания, державшая их в тайне от всех, как и положено женам от веков вековых, на людях вдруг взбесилась и посягнула на его седины?

На шатающихся ногах он поплелся в чулан, где висели на стене вожжи. Снял их, помял в дрожащих, не окрепших еще после болезни руках и пробурчал себе под нос: «Ну, поганка, держись! Умоешься ты у меня кровавыми слезами...»

Зинаида, застав мужа в комнате за лавкой, будто не заметила ни вожжей, ни его мертвенно-бледного лица, перекошенного яростью, и приторно ласково спросила: «Оправились, Евсений Зотыч? Ну, слава богу!» – «Не юли, змея, не прикидывайся! Все равно проучу! – закричал тот, потрясая вожжами. – На мужа руку подняла, ведьма!» – «Погодите-ка, Евсений Зотыч, – остановила она его, не смутившись. – Я от наказания не уклоняюсь, виновата. Только вы ведь дня три ничего не кушали, того гляди, сомлеете опять... Закусили бы сперва, а уж потом, как водится у людей, меня поучите...» – «И то верно, – согласился старик, почувствовав вдруг необыкновенный приступ голода, – надо бы поесть. Принеси-ка...» – «Знаю, ваших яблочек любимых!» – живо откликнулась жена и бросилась в сени, где в дубовой кадучке мокли яблоки.

Евсений уселся за стол, красноречиво положив вожжи рядом. Быстро обернувшаяся Зинаида поставила перед ним блюдо с яблоками. Он взял одно, повертел в руке. «А почему она с утра не в лавке?» – подумал старик, но спросить не успел. Едва он надкусил яблоко, как Зинаида схватила вожжи и начала хлестать мужа по голове, по спине, по рукам, по чем попадя. При этом женщина сдавленно приговаривала: «Вот тебе, старый хрыч, за все мои муки, за все слезы!» Евсений Зотыч даже вскрикнуть не сумел. Откушенный кусок яблока встал у него поперек горла, он начал кашлять и задыхаться. Толмачев побагровел, налился кровью и вдруг стал синеть, раздирая себе ногтями горло, валясь под стол, увлекая за собой сорванную скатерть и блюдо с яблоками.

Это случилось в конце февраля тринадцатого года.

Гроб с покойником поставили в столовой, под образами. От гроба шел терпкий дубовый дух, будто из сеней занесли остатки дров, запасенных на зиму. Станный аромат распространился по всему дому, перебивая еле уловимый запах тления. Дубовые шелкопряды, спавшие в дереве, проснулись от тепла, выползли наружу и медленно, словно нехотя, исследовали покойника, заползая ему за шиворот рубахи, бороздя посиневший кадык и обвислые щеки. Их жирные темно-красные тельца, будто налитые мертвой кровью, страшные морды с черными маскардадными масками произвели такое сильное впечатление на девку Хавронью, что та при виде красных червей заверещала и грохнулась в обморок. Прибежавшая на ее крик Зинаида при виде шелкопрядов и обмершей девки с усмешкой воскликнула: «Вот дура!» Приведя Хавро-

ню в чувства, хозяйка отправила ее на кухню печь пироги для поминок, сама же без всякой брезгливости принялась выживать из гроба червей. Она брала их двумя пальцами, бросала на пол и давила каблуком. За этим занятием и застал ее отец Поил.

В общине живо обсуждалась драма, разыгравшаяся в доме Толмачевых. Одни утверждали, что Зинаида отравила Евсевия, будто бы в яблочке, которое она подала ему, имелась «червоточина». Лавочницу не раз видели в аптеке немца Кребса на Четвертой линии. Она часто шушукалась с самим хозяином, о чем-то с ним советовалась. Еретик поганый, не иначе, научил бабу, как извести муженька! Другие разумно возражали, что нужды нет, отравлено ли было яблоко, ведь Евсевий умер от удушья, поперхнувшись. А вот если бы своенравная жестокая женщина не взяла в руки вожжей, чтобы проучить мужа, едва оправившегося от болезни, ничего бы не случилось. В общем, все сходились на том, что Евсевий отправился в мир иной не без участия Зинаиды, а так как та оставалась безнаказанной, возмущение в общине росло.

Разговоры дошли до отца Иоила. Он пытался утихомирить общину, внушая братьям и сестрам, что не во всяком грехе человек волен, и Зинаида наверняка не держала в мыслях страшного намерения убить своего благодетеля и супруга, но на молодую вдову все равно смотрели волками. Мудрый старец понимал, что Зинаиде не легко будет оправдаться перед единоверцами.

Теперь, наблюдая, с какой холодной решимостью та давит шелкопрядов, отец Иоил впервые подумал, что от застенчивой робкой девочки-сиротки, которую он привел шесть лет назад в общину, не осталось и тени. Заметив наконец священника, Зинаида буднично сказала, указывая на раздавленных червей:

– Вот ведь напасть, отец Иоил! Проснулись в тепле и полезли наружу. Видать, пройдоха гробовщик продал гроб из гнилого дуба.

– Не хочешь ли исповедаться, дочь моя? – тревожно спросил священник.

– После похорон, – ответила она, отвернувшись.

Поил зажег свечу и принялся читать над покойником молитвы, стараясь не смотреть на останки раздавленных червей.

Как враждебно ни была настроена община, никто из братьев и сестер не донес на Зинаиду в участок. Любые спорные вопросы в раскольничьей среде считались делом сугубо внутренним и впутывать в них полицию значило навлечь на общину крупные неприятности. Впрочем, квартальный надзиратель Терентий Лукич сам явился тем же вечером в дом Толмачевых.

Терентий Лукич походил на рассевшуюся от сырости кадушку с огурцами. Толстый и неуклюжий, он с трудом передвигался на коротеньких ножках. Бесцветные глаза, глубоко посаженные по бокам извилистого носа, узкая щель рта, жирные прыщавые щеки – все на его широком лице казалось собранным с разных, но одинаково неприятных физиономий. Он вкатился в комнату с покойником, снял треуголку и троеперстно, напоказ, перекрестился. По его хомячьим щекам катились крупные капли пота, рыжие бакенбарды вымокли, как от дождя. Гость обшарил взглядом труп и коротко, деловито спросил:

– Отравила?

– Да что вы! Господь с вами! – всплеснула руками Зинаида.

– Ты мне здесь тятров не разыгрывай, – предупредил квартальный. – Если извела Зотыча каким зельем, то так и говори. От меня не скроешь. Я людей вижу наскрозь...

– Никого я не изводила, – твердо заявила она. – Евсевий Зотыч яблочком поперхнулся...

– Ну ин ладно... Ты вот что... – вдруг сменил он тон на более ласковый, почесав в затылке. – Зотыч платил мне десять рублёв каждый месяц...

– Да разве ж за этим дело станет? – одарила его светлой улыбкой Зинаида. – Помилуйте, Терентий Лукич! Я буду платить двенадцать...

И тут же подкрепила обещание звоном серебряных монет. Но получив мзду, околоточный не спешил уходить. Он топтался на месте, мял в руках треуголку и наконец прошептал, косясь по сторонам:

– Хоронить будешь в лесу? Тайно?

– Вы же знаете, как у нас заведено, – развела руками Зинаида.

– Тогда гони еще двенадцать рублёв, красавица, – протянул он ей мокрую, на удивление маленькую ладошку с искривленными подагрой пальцами. – Потому как начальство меня за энто художество может взгреть...

Спрятав деньги, Терентий Лукич вновь перекрестился, умильно поглядел еще раз на покойника, тяжело вздохнул и, философски заметив: «Знать, пришел старику срок!» – удалился.

Старообрядческое кладбище пряталось в дремучем ельнике на зыбком островке среди болот. Отец Иоил уже не первый год отпевал здесь покойников. Он всегда возглавлял траурную процессию, бесстрашно ступая в брод, прошупывая дно багром. Однажды случилось так, что братья, несшие за ним гроб, оступились и упали в болото. Их еле спасли, а гроб с покойником затянула трясина. Зимой, когда болота замерзали, тропа была куда безопаснее. Вот и сейчас провожающих собралось больше обыкновенного. Могилу выкопали еще накануне.

Зинаида шла за гробом в одиночестве, опустив голову, чувствуя на себе взгляды братьев, полные ненависти и презрения. Многие смотрели и с завистью, ведь молодая вдова наследовала дом и лавку, а также сундук с серебром. И хотя большую часть этих денег заработала она сама, ее все равно считали недостойной наследницей, подозревая в злом умысле. Отец Иоил напряженно думал все эти дни, как примирить общину с Зинаидой, и решил наконец, что лучше всего для нее будет продать хозяйство и перебраться в другой город, а то и в деревню. По России разбросано множество раскольничьих общин, а уж он свяжется, с кем необходимо, поможет вдове устроиться на новом месте. Но у Зинаиды, как выяснилось вскоре, были совсем иные планы.

Остров-кладбище с покосившимися, а кое-где и вовсе упавшими в болотистую низину крестами наводил суеверный ужас на забредающих сюда случайно охотников. Собаки сразу же начинали подвывать, чуя нечто зловещее в едком сыром воздухе. Казалось, просевшие могилы вот-вот разверзнутся, и из них выберутся на свет Божий истлевшие покойники. Из одной могилы торчала даже полустгнившая крышка гроба, поднявшегося из ямы под натиском грунтовых вешних вод. Могилы здесь копали неглубокие, да и те за считанные минуты доверху затопляла вода. Яма для Евсевия Толмачева, по случаю недавних морозов, залита не была. Синие комья торфа вперемешку со льдом тусклой оправой поблескивали по краям могилы. Солнце поднялось уже высоко.

Отец Иоил прочитал молитву при хмуром молчании братьев. Девка Хавронья попыталась всплакнуть по хозяину для приличия, но, как ни старалась, слез выжать не смогла. Гроб опустили в могилу, Зинаида без тени скорби на лице бросила синий ком земли в яму, и он, звонко ударившись о крышку, разлетелся на мелкие куски.

– Хоть бы ради людей притворилась, что горюет, – тихо сказал кто-то, и эта фраза оказалась той самой зловещей искрой, от которой разгорелся пожар.

– Притворилась? – громко переспросила Зинаида, взглянув в упор на того, кто это произнес. Затем также нагло, бесстрашно обвела взглядом все собрание: – Чтобы я притворялась, будто горюю по этому извергу?

Чуя грядущий скандал, отец Иоил двинулся к ней, но женщина не дала ему приблизиться, выставив вперед руки, отгораживаясь от священника ладонями. Ее зеленые глаза горели нехорошим, лихорадочным огнем.

– И ради каких людей мне притворяться? Кого стыдиться? Мне бы вас надо проклясть, – она обращалась не только к священнику, но и ко всем братьям, – за то, что бросили меня на растерзание бешеному псу! Знали же вы, что этот душегуб сотворил с первой женой...

– Я думал, Евсевий образумился, – в крайнем смущении прошептал отец Иоил.

– Он и на том свете не образумится! – истерично крикнула Зинаида. – Гори он в аду синим пламенем, вот ему от меня поминанье!

Над ее головой пронесся зловещий ропот, похожий на шелест сухих листьев.

– Ты ему не судья, – прошептал отец Иоил, подавленный до того, что почти лишился голоса. – Никому из нас не дано право судить ближнего...

– Надоели вы со своими проповедями! – дерзко бросила она священнику и, обведя взглядом сдвинувшихся вокруг могилы братьев, бестрепетно добавила: – Всех вас ненавижу с вашими тайнами! С вашими глупыми законами, которые мешают жить, дышать!

Отец Иоил от изумления приоткрыл рот. Братья оцепенели. Хавронья часто моргала и морщилась, будто ей под нос сунули что-то едкое.

– Не желаю больше оставаться в общине, – твердо заявила вдова. – Завтра же приму лютеранство.

– Это Кребс ее в свою веру обратил! – крикнул один из братьев.

– Он и мужа отравить надоумил! – поддержал второй.

– Она нас всех подведет, – испугался третий, – донесет в полицию...

– Да что мы смотрим на нее? – возмутился четвертый. – Придушить змею – и дело с концом!

Братья тут же подхватили:

– Туда ей и дорога!

– И здесь же схороним, рядом с муженьком...

Они стали обступать Зинаиду. Хавронья вскрикнула и, по своему обычаю лишившись чувств, рухнула в сугроб, на соседнюю могилу. Отец Иоил преградил братьям путь, заслоня собой вдову.

– Стойте! – закричал он не своим голосом. – Я не допущу смертоубийства! Оглянитесь, здесь лежат ваши предки! Хотите осквернить их могилы?!

Но его не слушали и молча теснили прочь. К горлу Зинаиды уже тянулись чьи-то руки, но вдруг все разом зашумели и отшатнулись. В руках у вдовы неведомо откуда появился длинный, хорошо заточенный нож.

– Кто полезет, распорю брюхо! – процедила она сквозь зубы с решимостью, не позволяющей усомниться в серьезности ее намерений. Глаза женщины сверкали страшнее ножа, она озиралась вокруг с дикой одержимостью кошки, которую окружили рычащие псы.

– Ну ее к лешему! – махнул рукой один из братьев, не переставая пятиться.

– Пусть живет, как знает, – осмотрительно рассудил второй, уже ступая на тропу, ведущую с кладбища.

– Такая стерва и вправду зарежет, – пробормотал третий и побежал за братьями трусцой.

Четвертый ничего не сказал, а только плюнул и перекрестился. Вскоре все покинули кладбище, только отец Иоил стоял как вкопанный. Зинаида же, не обращая на него внимания, аккуратно завернула нож в тряпицу и сунула его себе в валенок за голенище. Потом, нагнувшись над Хавроньей, принялась растирать снегом ее бледные щеки, приводя девку в чувство и приговаривая:

– Эй, дуреха, тебя-то никто не собирался душить! Кому ты нужна, красавица эдакая!

Хавронья и в самом деле не блистала красотой, особенно ее уродовали огромные передние зубы, из-за которых рот всегда был немного приоткрыт. Очнувшись, она захлопала глазами, а увидев свою хозяйку живой и невредимой, на радостях расплакалась, тонко, по-мыш-

ному попискивая. Над болотом пронесся смех молодой вдовы, да такой звонкий, что братья, заслышав его, дружно перекрестились.

Отец Иоил вздрогнул, будто проснувшись, и побрел вслед за своей струсившей паствой.

Зинаида действительно приняла лютеранство и даже перекрестила свою безвольную прислужницу Хавронью. Старый немец Пауль Кребс, к чьим советам женщина внимательно прислушивалась и чье мнение ценила, сказал ей как-то, поправляя на горбатом носу очки и щуря умные глаза:

– А почему бы вам, фрау Зинаида, не сделать еще одну перемену, и не избавиться от всех этих замков, молотков и прочей ерунды?

– Как же так? – насторожилась практичная Зинаида. – К чему? До сих пор лавка меня кормила, а вырученные за нее деньги могут и пропасть...

– Я и не предлагаю продать лавку, – тонко улыбнулся хитрый немец. – Я предлагаю только поменять товар. Скажем, вместо гвоздей и ваксы торговать курительными трубками и сигарами, табаком разных сортов?

Вдова брезгливо поморщилась. Кое-кто из посетителей ее лавки иногда понюхивал табак, и Зинаиду всегда мутило от этого запаха. А уж курильщиков она на дух не переносила. Впрочем, курить на улицах и в общественных местах строжайше запрещалось, да и курили-то в Петербурге в основном немцы.

– Вы мне предлагаете открыть немецкую лавку? – с сомнением произнесла молодая вдова.

– Ошибаетесь, фрау Зинаида. Сильно ошибаетесь. Нынче многие из ваших соплеменников, побывав за границей, пристрастились к курению, и год от года их число будет только множиться. Увидите, – подмигнул прозорливый Кребс, – лавка принесет немалую выгоду.

Зинаида серьезно задумалась над словами аптекаря. Кстати она вспомнила, что у ее бывших братьев-раскольников курение и нюханье табака считалось страшным грехом. «А почему бы мне на самом деле не открыть табачную лавку?» – спросила она свое отражение в зеркале и с наслаждением представила маленькие глазки отца Иоила, вылезающие от возмущения из орбит.

К Великому посту на бывшей скобяной лавке Евсевия Толмачева появилась новая вывеска, и, конечно же, первыми посетителями табачницы стали местные, василеостровские немцы. «Зер гут, фрау Зинаида!» – восторженно подняв большой палец вверх, оценивали они перемену обстановки и товара. Старообрядцы обходили лавку стороной, а завидев издали расфранченную по немецкой моде Зинаиду, плевались, крестились и шептали проклятия «змее».

В день открытия новой лавки не преминул явиться в дом вдовы и квартальный надзиратель Терентий Лукич. Он еще не был посвящен в последние подробности ее жизни и прямо с порога начал, вытирая платком мокрые от пота бакенбарды и обмахиваясь треуголкой, как веером:

– Нет, не тот нынче пошел раскольник. Мелкого пошибу человеки. То ли дело прежде: протопоп Аввакум Петрович, боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова – энто ж были мученики, богоборцы... Хотя и не сочувствую им вполне, а за силу духа уважаю...

– Что вам нужно? – перебила его Зинаида, не выказав при этом ни капли бывшего почтения.

– И сколько же вам желательно, Терентий Лукич? – с неприятной усмешкой спросила вдова.

– Ну, скажем, двадцати рублѐв в месяц хватило бы...

– А если я даже копейки не заплачу? – прищурив глаз со слезой-родинкой, осведомилась Зинаида.

Квартальный кашлянул в подагрический кулак и спокойно сказал:

– Тогда я тебя, красавица, как незаконную раскольницу заарестую. Дальше сама знаешь что. Много вашего брата кандалы-то носит.

– А с немцев вы тоже дань собираете? – невинно поинтересовалась она.

– С немца что взять? – хмыкнул Терентий Лукич. – Немец, он по большей части лютеранин, изредка – католик. И тем и другим не запрещено отправлять культ. Наш царь добрый, не токмо что немцам, даже жидам от него никакого урону. Но вашего брата раскольника щадить не велено, а гнать из столицы поганой метлой в Сибирь, куда ворон костей не носил...

– Так вот знайте теперь, Терентий Лукич, что я приняла лютеранскую веру, – торжественно произнесла Зинаида, гордо задрав подбородок.

– Что такое? – От удивления квартальный подскочил, уронив треуголку. – То-то я гляжу, иконы попрятала! Ах ты, бестия! Изменщица проклятая! Тварь продажная! Муженька в могилу свела, да еще и веру свою туда же закопала! Отец с матерью на том свете тебя проклянут! Ох, проклянут!

Терентий Лукич потрясал кулаком и задыхался. Отступничество вдовы само по себе было ему безразлично, но очевидная потеря двенадцати ежемесячных рублей, не говоря о двадцати, на которые он сильно рассчитывал, доводила его до бешенства. Таких ударов судьба давно ему не наносила.

– Да будет вам кудахтать, надоело! – резко оборвала она его гневную речь. – А вот подумайте-ка, ведь я могу пойти к вашему начальству и доложить: так, мол, и так, квартальный надзиратель уже добрый десяток лет укрывает раскольников и берет с них взятки. Приложу списочек своих бывших братьев, ведь они мне уж не братья. И кто тогда пойдет этапом в Сибирь?!

– Ах ты, ведьма!.. Ах ты... – Терентий Лукич не находил слов. Он подобрал с пола треуголку и попятился задом к двери, не сводя выпученных рачьих глаз с вдовы.

– А не желаете этого, сделаем так, – наступала на него Зинаида. – Это вы мне будете платить двадцать рублёв в месяц за молчание!

– Ты смотри, того... только попробуй... – грозил ей пальцем ошалевший Терентий Лукич. Он был так красен, будто долго парился в угарной бане. Дойдя до двери, толстяк криво надел треуголку и бросился наутек, сопровождаемый звонким смехом «ведьмы».

На самом деле Зинаида вовсе не собиралась доносить на квартального. Трусливый страж порядка, да к тому же взяточник, ее вполне устраивал. Неизвестно, кого могут поставить вместо него. Сразу после его ухода она подумала, что напрасно погорячилась. «Ну и он тоже хорош! Зачем помянул отца с матерью?» – оправдывалась перед собой молодая женщина.

Вскоре ей пришлось серьезно пожалеть о своих угрозах.

Как-то ночью в дом постучались. На дворе сильно выюжило, ветер давно задул мигающий огонь в треснувшем фонаре. Зинаида смогла разглядеть в окне две фигуры: мужчину высокого роста и женщину хрупкого телосложения.

– Спроси, чего им надо? – крикнула она Хавронье. – Если нищие, подай хлеба и гони! В дом не пушу!

Зинаида снова улеглась в теплую постель, но вдруг услышала тяжелые мужские шаги на лестнице. Дверь в ее спальню распахнулась, да так резко, что едва не сорвалась с петель. Зинаида вскрикнула и вжалась в стену. На пороге стоял молодой красавец в заснеженном тулупе. Его усы и борода искрились от снега, а глаза излучали горячую радость.

– Наконец-то я тебя нашел! – выпалил он и распахнул объятья: – Ну же, Зинка! Неужто брата не узнаешь?

– Братец?.. – прошептала Зинаида, комкая на груди одеяло. – Афанасий?

– Он самый...

Зинаида даже ущипнула себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Она не видела брата десять лет. Вскоре после того как Афанасия отправили по этапу в Сибирь, кто-то

принес родителям весть, что тот умер в дороге, не добравшись до места назначения. Зинаида с детства привыкла думать о брате как о покойнике.

Она спрыгнула с кровати и бросилась к нему на шею.

– Братец, живой! А мамка с батей померли...

– Знаю. Был я там... – Он не стал договаривать.

Зинаида поняла, что брат побывал на тайном старообрядческом кладбище и видел двойную могилу родителей, за которой она тщательно ухаживала.

– Хавронья, ставь самовар! – крикнула она в открытую дверь.

– Да твоя служанка лежит без памяти от страха, – рассмеялся парень.

– Что это она за моду взяла! – рассердилась Зинаида, набрасывая теплый капот поверх рубахи.

Потрясенная воскрешением брата, она совсем забыла о его спутнице, которую видела в окне. А между тем незнакомая гостья быстро привела в чувства Хавронью, и та засуетилась на кухне. Чай и постные пирожки вскоре были на столе. Опомнившись, Афанасий представил сестре свою подопечную:

– Графиня Елена Мещерская.

Девушка смущенно отвела взгляд.

– Ты меня разыгрываешь? – хихикнула Зинаида.

– Ничуть не шучу. Она настоящая графиня, – настаивал Афанасий. – Воскрешая из мертвых, как и я...

Он принялся рассказывать историю Елены, графиня же не проронила ни слова, давая брату с сестрой вдоволь наговориться после долгой разлуки. К тому же девушка устала с дороги, ее сильно клонило в сон. Заметив состояние гостьи, Зинаида выделила ей маленькую комнатку над самой лавкой. Там никто никогда не жил, и холодная каморка насквозь пропиталась едкими ароматами ваксы, мазута и масел, которыми смазывался скобяной товар. Нынче к ним прибавился еще и запах табака. Другой отдельной комнаты для графини в доме не нашлось. Весь дом Толмачевых состоял из сеней, двух жилых комнат, чулана и кухни, где спала Хавронья. Афанасию постелили на диване в столовой. Впрочем, они с Зинаидой не спали. До самого утра Афанасий рассказывал сестре о каторге, о побеге, о разбойничьей жизни, о том, как снова схватили его в Москве жандармы и посадили в тюрьму. Говорил и о том, как перед приходом французов генерал-губернатор Ростопчин приказал выпустить всех колодников из тюрем и сам держал перед ними патристическую речь и как они клялись ему, что подожгут Москву...

– Так это ты, Афоня, поджег Москву? – всплеснула руками она. – А я и думать не могла!

Не уловив иронии в словах сестры, он не без гордости заявил:

– Не только поджег, а еще и подстрелил с дюжину французов, а может, более...

Под утро Афанасия наконец сморило, и Зинаида, пожелав ему «доброго сна», прошла на кухню. Там она растолкала Хавронью, приказала ей достать из чулана старые родительские иконы и незаметно для гостей повесить их в комнатах на прежние места. «Хотя бы оттяну время, – твердила она себе, – ведь если Афанасий узнает про мое предательство, он меня убьет...»

Спать Зинаида уже не хотела. Переодевшись, женщина спустилась в лавку и дрожащими непослушными руками принялась выставлять на витрину свежий товар. В ее голове тревожно роились самые горькие мысли. Кто бы мог подумать, что брат воскреснет из мертвых и объявится именно теперь, когда у нее начинается новая жизнь! Где он скитался раньше, когда нужно было защитить ее, одинокую сироту, от ужасных бесконечных пыток мужа? Афанасий, пострадавший за веру, никогда не простит ей отступничества. «Что мне делать? – она кружила по лавке, как загнанный зверь. – Звать на помощь квартального? Чтобы брата снова заковали в кандалы и отправили по этапу?.. Ведь Афанасий убьет меня, ничего слушать не станет!»

В это время шарманка на двери заиграла старинную немецкую мелодию.

– Гутен морген, фрау Зинаида! – приветствовал ее долговязый рыжеусый мужчина в изрядно помятом цилиндре. Это был часовых дел мастер, герр Шмитке, явился он навеселе и потому больше обычного коверкал слова, путая русские с немецкими, и даже вставляя французские. – Какой карош сегодня морген! А у меня дас нихт табак, битте. Вуаля! – Он вывернул карманы брюк, аккуратно залатанные, очевидно, терпеливой женской рукой. После чего вытянул губы дудочкой, приложил к ним палец и доверительно сообщил: – Ни хаврошечки!

– У вас, по-моему, еще и нихт денег по обыкновению. Не так ли, герр Шмитке? – Зинаида еле выдавила улыбку на бледных губах.

– Я-я, абсолютный нихт! – жизнерадостно воскликнул часовщик.

С удивлением наблюдая за своими действиями со стороны, Зинаида щедро насыпала ему полный картуз самого дорогого табаку. Обычно она не кредитовала попрошаек, но герр Шмитке поднял ей настроение в это злосчастное утро. Она знала, что выпивоха часовщик уже почти год сидит без заказов, заложил инструменты и всю мебель в доме, а семья живет на то, что зарабатывает шитьем его чахоточная жена. В другое время лавочница выставила бы этого нищелюда за порог, сейчас же, сама себе дивясь, пожелала герру Шмитке счастливого дня и одарила его ангельской улыбкой. Ошеломленный немец вместо двери едва не вошел в витрину, и вдова залиvisto расхохоталась.

Глядя на кульбиты подвыпившего часовщика, Зинаида внезапно придумала, что скажет брату, когда тот проснется. Главное, чтобы тот не пересекся с другими раскольниками.

Елена долго не могла уснуть той ночью. Перед глазами то и дело возникал образ дядюшки Ильи Романовича, нюхающего табак из золотой табакерки. «Тебя нет, Аленушка, – говорит он приторно ласково и гладит ее руку. – И только в моей власти сделать так, чтобы ты снова появилась». Подобие сальной улыбки на его лице было настолько омерзительно, что графиню передергивало всякий раз при этом воспоминании. Ворочаясь с боку на бок на жесткой постели, прислушиваясь к вою мартовской вьюги за слепым от снега окошком, Елена как нельзя лучше сознавала, что дядюшка был прав. Ее действительно нет на белом свете. Восстановить имя, титул, вступить в права наследства отцовским капиталом, отчасти уже разворованным дядей, поможет ей теперь разве что чудо. Письма Сони Ростопчиной к родственникам, влиятельным в Петербурге людям, украдены вместе с деньгами. Теперь судьба ее целиком и полностью зависит от беглого каторжника. Он уже дважды спасал ей жизнь и защищал ее честь. Елена пыталась понять, почему Господь послал ей именно такого заступника, человека старой веры, всеми гонимого? На днях она вспомнила, как отец рассказывал о своем предке, служившем спальником при царе Алексее Михайловиче. «Тишайший» часто страдал бессонницей, и предок их не раз прислуживал царю по ночам, был его собеседником. Как раз в это время осуществлялись реформы патриарха Никона, расколовшие верующих людей на два непримиримых лагеря. Возможно (Елена содрогалась при этой мысли), предок ее был одним из гонителей и палачей старой веры, если оказался так близок царю. Может быть, на их род наложено проклятие? Ведь она, последняя представительница рода, теперь лишена всего... Графиня терзалась мрачными мыслями, пока не уснула.

Ей приснился царь Алексей Михайлович, но не в русском кафтане, расшитом драгоценными камнями, а в современном платье: в белых, обтягивающих ноги, лосинах в прекрасном фиолетовом фраке, в белых перчатках, в цилиндре, будто он собрался на конную прогулку. Царь был чисто выбрит и смотрел на Елену в лорнетку. Он хмурился и выговаривал ей по-французски: «Как вы могли такое допустить, мадемуазель? Путешествовать в компании раскольника, поселиться в грязной лавке его сестры?» – «Афанасий – добрый человек, Ваше Величество», – отвечала она, смущенно потупив взор. «Помилуйте, – махнул лорнеткой царь Алексей Михайлович, – он же разбойник!» – «Разбойник поневоле, – оправдывала она Афанасия. – Обстоятельства принудили его стать разбойником». – «Не понимаю, какие такие обстоятель-

ства! – разозлился царь и вдруг приблизился к ней и прошипел в самое лицо грубо, по-русски: – А вот велю я тебя, милочка, заковать в кандалы и вместе с "добрым человеком" отправлю по этапу в Сибирь!»

И когда он так заговорил, графиня вдруг поняла, что это вовсе не «тишайший» царь и даже не его странный двойник с лорнеткой, а сам дядюшка Илья Романович во всей красе. Елена вскрикнула и тут же проснулась.

Вьюга за окном улеглась, в ясном небе весело, по-весеннему светило солнце. Она собралась уже спрыгнуть с постели и умыться, чтобы прогнать остатки неприятного сна, но, едва приподнявшись на локте, вдруг почувствовала невыносимую дурноту. Томительно тоскливое удушье подступило к самому горлу. Сглотнув горький комок, Елена снова упала на подушку, с ужасом спрашивая себя, какие еще напасти готовит ей новый день?

Глава вторая

Дядюшка на водах. – Новое полезное знакомство. – Отравленное детство

Князь Белозерский не в первый раз посещал Липецкие воды и всегда встречал здесь изысканное общество. Однако все его прошлые посещения приходились на летнюю пору и начало осени. Ранней же весной сюда приезжали люди совсем иного круга. В основном это были мелкие чиновники и простые горожане без громких титулов и родовых гербов, со скудными средствами. Илья Романович чувствовал себя белой вороной среди этих, как он их называл, «никчемных букашек». «Нет, букашки и те приносят пользу, – пустословил он, споря с самим собой. – Ими питаются птицы и всякие гады ползучие. А эти годятся на корм разве что местным докторишкам и трактирщикам!» Борисушка страдал. Детей в это время года на курорте было очень мало, да и с теми отец не разрешал ему водиться. «Не нашего рода-племени эта мелюзга, – поучал он сына, – тебе и смотреть в их сторону не позволительно...» Точно так же было и в Тихих Завоях. Стоило мальчику затеять игру с дворовыми детьми, тотчас отец, высунувшись из окна, кричал им: «Прочь от моего сына, шелуха подзаборная!» – словно ребятишки были прокаженными.

Вечерами, томясь бездельем, мальчик все чаще брался за перо. Он писал письма Лизе Ростопчиной и брату Глебу, сочинял стихи и даже принялся за написание пьесы, в которой действующими лицами были дети, а также благородный пес по кличке Измаилка, произносивший длинные рифмованные монологи. Отец называл занятия сына «сущим вздором», однако не препятствовал ему, понимая, как мальчику скучно. Князю самому опротивело торчать на курорте не в сезон, пить по утрам «кислую воду», днем за табльдотом выслушивать жалобы старух и стариков на подагру и колики, а вечерами перечитывать несвежие «Московские ведомости», приходившие в Липецк с большим опозданием. На исходе лета он частенько развлекался соколиной или ястребиной охотой в окрестностях города. Но кто же охотится весной? Князю неоднократно предлагали составить партию за ломберным столом, но он в паническом страхе бежал от карт.

Илья Романович прекрасно понимал, что укрываться далее в Липецке не имеет смысла. Рано или поздно барон Гольц прознает о его убежище и явится за долгом. Князь с дрожью в сердце вспоминал вечер, когда разразился скандал из-за проклятой табакерки, едва не закончившийся дуэлью. Вот будь тогда рядом Илларион... Ему сильно недоставало разбойника, который готов был на все ради барина. Уезжая, Белозерский строго наказал Евлампии: буде явится Илларион, тотчас направить его в Липецк. Судя по всему, верный слуга не подавал весточки, и князь уже начинал подозревать, что тот снова переметнулся к разбойникам. Если это так, а племянница до сих пор жива и добьется аудиенции в Павловском дворце, тогда он погиб. Девчонка сумеет разжалобить императрицу-мать, и Мария Федоровна примет горячее участие в судьбе сиротки...

За утренним кофе, поданным ему в постель камердинером, Илья Романович вспоминал былое. Однажды, в пору лихого и бесшабашного гусарства, его представили на балу тогда еще не императрице, а всего лишь великой княгине Марии Федоровне. Ему смутно припомнились ямочки на щеках великой княгини и ее здоровый румянец. Впрочем, румянец мог быть искусственным, в то время мужчины и женщины красились одинаково щедро. О чем же он говорил с этой довольно чопорной немкой? Кажется, она плохо понимала его французский выговор, все время переспрашивала. Он тогда не придавал никакого значения этому знакомству, ведь ее супруга, великого князя Павла, царедворцы демонстративно презирали, выслуживаясь перед императрицей Екатериной. О чем они вообще могли тогда говорить? Илья Романович изо всех

сил напрягал память. Опера Глюка, роман Коцебу, картина юного Фридриха? Она любила все немецкое, немка до мозга костей. Князь поставил чашку с недопитым кофе на поднос.

– Надо бы возобновить знакомство, – произнес он вслух и приказал слуге одеваться на прогулку.

На прогулке он обратил внимание сына на одну юную особу лет шести-семи. Девочка была хороша, как дорогая кукла, и роскошно, как кукла с витрины, одета. На ее вышитом бархатном платье красовались воротник и манжеты из таких редкостных мехельнских кружев, что князь на миг зажмурился, сообразив, сколько они могут стоить. Смуглое личико девочки, правильное и печальное, ее миндалевидные черные глаза, влажно блестящие из-под тяжелых ресниц, шелковые волны темных кудрей, бегущие по узким плечам – все было прекрасно южной красотой, яркой и неотразимой. Маленькая красавица не замечала обращенных на нее восхищенных и завистливых взглядов и с упоением нянчила куклу, напевая себе под нос колыбельную на неизвестном Борисушке языке.

– Подойди к ней и представься, – приказал князь.

– Но, папенька, она ведь иностранка, – испуганно возразил мальчик.

– А ты представься по-французски, как учил тебя отец Себастьян.

– Но она мне вовсе не нравится, – упрямылся Борисушка.

– Разве? – ухмыльнулся Илья Романович. – Ты приглядишься получше. Она прехорошенькая.

– Больно смугла, – с видом знатока заявил Борис.

– Ну же, ступай! – Князь сердито ударил тростью по булыжнику мостовой. – И чтобы без чудачеств, – добавил он, погрозив сыну пальцем. – Веер не рвать, куклу не ломать.

Борисушка, подивившись неожиданной прихоти отца, пошел представляться смуглянке. На самом деле каприз князя объяснялся очень просто. Два дня назад на курорт приехал граф Семен Андреевич Оболянинов со своей маленькой дочуркой. Илья Романович знал графа в прежние времена, когда тот служил в императорской гвардии. Выйдя в отставку, Оболянинов прославился на весь Петербург скандальным браком. Он женился на дочери шарманщика, нищей безродной итальянке, за что был изгнан из светского общества. Говорили, что Джиневра Оболянинова обладала редкостной античной красотой, словно сошла с полотна Рафаэля. Многие солидные мужи, несмотря на отлучение и бойкот, сочувствовали графу и тайне одобряли его поступок. Белозерский в то время не разделял их демократических воззрений, полагая, что всяк сверчок должен знать свой шесток. Однако Джиневра вскоре скончалась от родовой горячки, положив своей смертью конец досужим сплетням и пустословию. Граф не находил места от горя и едва не наложил на себя руки. По просьбе Джиневры он похоронил ее на родине, в Генуе, и там же провел несколько лет, купив красивый дом на берегу моря. Петербург он посещал лишь изредка. Общество готово было снять с него опалу, но Оболянинов всячески избегал света. Визитными карточками, которые присылали в его петербургский дом, он велел слуге растапливать камин. Однако от приглашения в Павловск строптивый граф не посмел отказаться. Сердобольная мать-императрица в самые тяжелые для Семена Андреевича времена бойкота присылала ему записки ободряющего характера. Строгая и добродетельная, во всем любящая порядок, Мария Федоровна на этот раз изменила себе. Любовь графа к дочери шарманщика произвела на нее неизгладимое впечатление.

Будучи обласкан матерью-императрицей и ее придворными, Оболянинов на следующий же день был принят ее сыном, императором Александром Павловичем. А еще через день граф вновь отбыл за границу, демонстративно проигнорировав все другие приглашения. По Петербургу тотчас поползли слухи, что Семен Андреевич шпионит в пользу государя, живя в Италии, точно так же, как небезызвестный Чернышев шпионит в Париже. В это время Белозерский уже окончательно обосновался в Москве, и его мало интересовали перипетии большой политики. Однако в слухи о шпионстве бывшего знакомого он поверил безоговорочно и часто

говаривал: «Обольянинова я давно раскусил. Тот еще, знаете ли, фрукт! Он и на шарманнице женился исключительно ради шпионства. Вы не все знаете...»

Встретив графа в Липецке, Илья Романович приветствовал его едва заметным наклоном головы, и в ответ получил такой же равнодушный кивок. Князь догадался, что Семен Андреевич переживает здесь бушующую в Европе войну, и на курорте в это время он оказался лишь потому, что не желает видаться ни с кем из высшего общества. Белозерскому не приходило в голову возобновлять знакомство с Обольяниновым, пока он не решил, что ему срочно требуется человек, который мог бы ввести его в окружение матери-императрицы.

Борисушка представился маленькой графине на плохом французском и, не зная, о чем дальше говорить, спросил, как зовут ее куклу. Девочка смущенно опустила ресницы и неожиданно прошептала по-русски:

– Меня зовут Каталина, а ее, – она предъявила куклу, – Лизетт... Она спит, поэтому говорите, пожалуйста, шепотом...

– Я знаю девочку с таким же именем, как у вашей куклы, – перешел на шепот Борисушка.

Тем временем Илья Романович приблизился к графу, сидевшему на скамье с томом Вальтера Скотта. Казалось, он не читал, а просто, не торопясь, перелистывал страницы. Во всяком случае Белозерский не верил в то, что некоторые индивиды способны так быстро читать, хотя слышал о таких чудесах.

– Мы, кажется, когда-то были знакомы, – начал князь, старательно выдавливая улыбку.

Обольянинов посмотрел на него строго, и тот разом перестал улыбаться. На желтом, изрытом оспой лице графа отобразилась досада, которую он даже не думал скрывать. Илья Романович уже счел свою затею проваленной, но тут неподалеку раздался чистый детский голосок. Каталина вновь запела итальянскую колыбельную, баюкая куклу. Суровое лицо графа сразу смягчилось.

– Мы с вами очень давно не виделись, – произнес он, скорее желая отвязаться, чем поддержать беседу.

– И не мудрено, – подхватил князь. – Я вышел в отставку, женился. Проживаю то в Москве, то в деревне. Имею двух сыновей. Вдовею, как и вы...

Последнее обстоятельство их сближало, и князь не зря выделил слово «вдовею», произнеся его самым скорбным тоном... Но на графа это не произвело никакого впечатления. Он снова принялся листать Вальтера Скотта, давая своим видом понять, что разговор окончен. Но не так был прост Илья Романович. Нисколько не уязвленный холодным приемом Обольянинова, он продолжал:

– Вот, в кои-то веки выбрались с сыном на курорт... – Он погладил по голове Борисушку и восхищенно добавил: – А у вас прехорошенькая дочурка! Когда-нибудь она будет блистать в свете.

Рука графа, листавшая страницы, вдруг замерла в воздухе. Он смерил Белозерского изучающим взглядом, будто желая понять подоплеку сказанного им комплимента.

– Моя дочь никогда не будет блистать в свете, – произнес он, выделяя каждое слово.

– Ну, полноте, граф! – Белозерский уселся рядом на скамью и бесцеремонно обнял Обольянинова за плечи. – Полноте, дорогой Семен Андреевич! Все в этом мире переменяется. Вспомните, какими мы были лет пятнадцать назад. Разве мыслимо было появиться в приличном обществе без парика и без «крысиного хвостика», без этой дурацкой косички? А нынче даже с плешивой головой выйти не грех. Вот увидите, лет через пятнадцать ваша дочь станет первой красавицей в Петербурге.

– То, что вы, князь, говорите, справедливо, если касается моды, – возразил ему граф. – А к межсловным бракам общество относится куда менее лояльно.

– Неужто? – выкатил глаза Илья Романович. – А вспомните-ка Петра Великого. Разве жена его, царица наша Екатерина Первая, не была простой прачкою? Я могу вам привести еще сотню примеров из того героического времени...

– Те времена давно минули, – уже совсем сердечно улыбнулся Семен Андреевич.

– Так они воротятся, вот увидите... Непременно воротятся!

Выказав себя едва не якобинцем, Илья Романович заслужил доверие графа. Их разговор продолжился за табльдотом в гостинице. Маленькая Каталина без умолку болтала с Борисом, рассказывая ему о доме на берегу моря, о прекрасном померанцевом дереве, выросшем у нее под окном. «Представьте себе, стоит только протянуть руку и сорвать апельсин!...» – щебетала она. Мальчик вспомнил, что видел померанцевые деревья в зимнем саду Позднякова. И там же, в театре Позднякова, он встретил самую удивительную в мире девочку. Он вдруг вообразил, что храбро срывает с дерева огромный оранжевый апельсин и протягивает его Лизе Ростопчиной. Лиза тронута. «Я на вас больше не сержусь», – говорит она, и ее голос звенит, как стеклянный колокольчик.

– Вы меня вовсе не слушаете! – рассердилась Каталина, сильно дернув его за рукав.

– Катенька, веди себя прилично, – сделал ей замечание отец и, улыбнувшись Белозерскому, с гордостью пояснил: – Темперамент у моей дочурки поистине сицилийский.

Поданные к столу перепела под сладким соусом и бутылка кьянти из генуэзского погреба графа быстро развязали обоим языки, и вскоре они уже беседовали, как старые добрые приятели.

– Давно ли вы посещали Павловск? – наводил разговор на нужную тему Илья Романович.

– Недели три тому назад, перед самым отъездом сюда, был принят и обласкан матушкой-императрицей, – похвастал Оболянинов.

– Ну и как вы ее нашли? Как здоровье дражайшей Марии Федоровны? – с участием поинтересовался князь.

– Война ее немного состарила. Впрочем, как и всех нас. – Семен Андреевич сделал паузу и прислушался к щебетанию дочери. – А так, она мало изменилась. По-прежнему стройна, румяна, добродетельна и в то же время строга, – продолжил он. – Однако явились причуды.

– Что за причуды? – насторожился Белозерский.

– Вот вы, князь, давеча вспоминали парики с косичками и даже бранили их, а матушка-императрица, напротив, объявила себя хранительницей старой моды. В Павловском дворце строжайше запрещено появляться в платье нынешнего века. Все там должно оставаться, как при бывшем императоре, будто он и не умирал.

– Подумать только! – восхищенно произнес князь. – Много ли отыщется на белом свете вдов, так свято хранящих память о покойном муже?

– Так что, дорогой мой, если соберетесь в Павловск, советую достать из сундука парик с «крысиным хвостиком». – Оболянинов пристально посмотрел на князя.

Илья Романович вздрогнул, ему показалось в этот миг, что граф видит его насквозь и наперед знает все его замыслы.

– Да я... да ведь у меня... – растерялся он, но быстро взял себя в руки. – Все мои сундуки сгорели в Москве. Придется заново шить камзол, добывать чулки и парик. Представляю, как все это ко мне пойдет, если я вздумаю нарядиться... То-то смеху будет! – Он старался говорить в шутиливом тоне, но видно, не преуспел в лицедействе.

– Я вижу, у вас серьезные намерения, – без тени сомнения произнес граф. – Не знаю, зачем вам понадобилось покровительство Марии Федоровны. Видно, на то есть основательные причины... Но я мог бы вам помочь, – неожиданно предложил Оболянинов, – правда, с одним условием...

– Что за условие, граф? Не томите! – Князь всегда считался игроком, не умеющим блефовать, и на этот раз слишком поспешно раскрыл свои карты, вызвав на желтом лице партнера усмешку.

– Весьма простое условие, – успокоил его Семен Андреевич. – Вы дадите честное слово дворянина, что придете ко мне на помощь тогда, когда я этого от вас потребую, вне зависимости от времени и места...

Загадочный тон, которым Оболянинов произнес эти слова, напомнил Белозерскому ходившие на его счет сплетни: «Да он и вправду шпион! Вот бестия!»

– Я с удовольствием приму ваше условие, дорогой мой Семен Андреевич, – сладко запел Илья Романович, – если только оно не заденет моей дворянской чести и не потребует денежного вспомоществования. Ведь я стеснен в средствах.

– Однако, князь, – рассмеялся Оболянинов, – вы в ответ на мое единственное условие выдвинули целых два! Так можно черт знает до чего договориться! Давайте-ка лучше выпьем!

Он сам разлил в бокалы остатки вина и провозгласил тост за победу наших войск в Пруссии.

На следующий день, несмотря на то что началась весенняя распутица, Илья Романович засобиравшись в дорогу. «Переждали бы неделю-другую, – уговаривал его Оболянинов, – а потом, с божьей помощью, вместе тронемся в путь. Вместе-то веселее, и детишкам обоюдное удовольствие...» Но Белозерский сослался на то, что в Москве ему необходимо уладить кое-какие срочные дела.

Князю предстоял нелегкий разговор с ростовщиком Казимиром Летуновским. Хотя поляк и сделался сговорчивее после того, как Илья Романович вступил в права наследства, однако по-прежнему был прижимист и скуп и выдавал деньги из сундука Мещерских с большой неохотой, припоминая всякий раз Белозерскому его бывшее мотовство и разгильдяйство. А деньги князю были крайне необходимы для устройства в Петербурге. Он подозревал, что поездка в столицу затянется.

С графом они уговорились встретиться в Петербурге в первых числах апреля, Оболянинов даже пригласил князя с сыном пожить в его доме на Каменном острове. Илье Романовичу все это казалось весьма подозрительным. «Что задумал этот выжига? – ломал он голову. – Уж не хочет ли он использовать меня в своих грязных шпионских плутнях?» За бутылкой кьянти Оболянинов заверил его, что деньгами он обеспечен по гроб жизни и никогда ни у кого не попросит в долг. Это несколько успокоило князя, хотя и ненадолго. Он опасался как давать в долг, так и быть кому-то обязанным, тем более такому скользкому человеку, как Оболянинов.

До Москвы еле добрались. Дормез то и дело увязал в грязи, его приходилось вытаскивать силами местных крестьян из придорожных деревень. Эти землепашцы, избалованные подачками горе-путешественников, по горячему убеждению Белозерского, готовы были сами рыть ямы на тракте, чтобы заработать полтинник-другой. Князь торговался с ними за каждую копейку, но мужики встречали эти попытки неприветливо, и он все равно понес непредвиденные расходы.

Добравшись наконец до дома и въехав во двор, Илья Романович был неприятно поражен следующей картиной. Его больной и немощный сын Глеб играл в пятнашки с дворовой девочкой лет десяти. Дети азартно прыгали через лужи и звонко смеялись.

– Не догонишь! Ни за что не догонишь! – кричал Глеб.

– А вот возьму и догоню вас, барин! – задорно отвечала востроносая девчонка. Она была старше Глеба, но не ловчее – растоптанные валенки огромного размера, явно материны, мешали ей гоняться за мальчиком.

Старый слуга Архип, сидевший на ступенях крыльца, мастерил бумажный корабль и весело приговаривал:

– Куда тебе, Фёклуша, угнаться за молодым баринином! Он, почитай, у нас лучший бегун. Быстрее его нету.

Вдруг Глеб резко остановился, неожиданно наткнувшись на взбешенный взгляд отца. Илья Романович смотрел на сына из оконца въезжающего во двор дормеза, его бледное лицо было искажено яростью. У мальчика внутри что-то сжалось от ужаса, к ногам будто прицепили пудовые гири. Он не мог тронуться с места. В тот же миг сзади на него налетела ни о чем не подозревавшая Фёкла, и они вместе повалились в лужу.

– Что ты наделала, дура! – заорал вне себя Глеб. С его одежды ручьями лилась вода, лицо оказалось перепачкано в грязи. Девочка усердно зашмыгала носом, готовясь зареветь. Подоспевший на помощь Архип суетился возле маленького барина, пугливо оглядываясь на дормез:

– А вот мы умоемся, переоденемся в сухонькое, и снова можно играть, вся недолга.

Он взял Глеба за руку и повел его к крыльцу.

– Стой! – раздался у него за спиной голос князя. Илья Романович, ступая прямо в лужи, направлялся к слуге. За ним вприпрыжку бежал Борис, донельзя довольный тем, что мучительная езда по раскисшим дорогам осталась позади. – Разве так положено рабу встречать барина, старая скотина?!

Он размахнулся и изо всей силы полоснул Архипа кнутом по голове. Фёкла с визгом бросилась наутек. Глеб задрожал всем телом, сжав маленькие кулачки. Его побледневшее лицо передергивал тик, глаза метали молнии. Он напоминал в этот миг дикого звереныша, который вот-вот изловчится и вцепится когтями в своего врага.

– Что ты вылупил на меня? – процедил сквозь зубы князь и уже занес кнут, чтобы ударить сына, но на локте у него повис Борисушка.

– Не надо, папенька, – заскулил он, – не бейте Глебушку! Уж лучше меня!

– Тьфу, заступник! – сплюнул князь и смахнул с руки Борисушку так резко, что тот едва не упал ничком в лужу. Ему вслед полетел кнут. Разъяренный Илья Романович ушел в дом.

Перво-наперво он отыскал Евлампия в комнате гостевого флигеля и без предисловий набросился на няньку:

– Зачем выпустила Глеба во двор? Он промок до нитки. Немедленно пошли за врачом!

Карлица, ошеломленная внезапным явлением князя, метнулась из флигеля во двор, крикнув на ходу слуге:

– Живо за доктором!

Но Глеба во дворе уже не было, он убежал в свои комнаты, размазывая слезы по грязному лицу. Старый Архип, едва поспевая за ним, бранил свои больные ноги, а упавший духом Борисушка плелся сзади. На его заступничество брат ответил едко, без тени благодарности: «Впредь не лезь, куда не понимаешь, и не смей заступаться, хоть бы он забил меня до смерти!» Совсем не так Борис представлял возвращение домой. Ведь он сдержал свое обещание, с помощью тысячи хитростей сделал для брата дубликат ключа от библиотеки, но это не смягчило Глеба. Он по-прежнему ненавидит его.

Тем же вечером у Глебушки поднялся жар. Доктор приезжал дважды. Мальчик не хотел никого видеть и снова замолчал. На вопросы Евлампии и старого Архипа он не отвечал и даже не оборачивался, будто оглох и онемел в одночасье.

Илья Романович принял доктора Штайнвальда в кабинете, изобразив на лице крайнюю озабоченность.

– Никаких признаков инфлюэнции я не нахожу, – осторожно начал немец. – Возможно, мальчик переволновался и горячка его вызвана нервами.

– Да, он, знаете ли, очень-очень нервный ребенок, – подтвердил князь и поспешил заверить: – Для его выздоровления я ничего не пожалею, не поскуплюсь на самые дорогие лекарства.

- Мальчику прежде всего нужен покой и свежий воздух, – покачал головой Штайнвальд.
- И больше ничего? – недоверчиво переспросил князь.
- Больше ничего.
- Вы не выпишете ему лекарство? – удивился Белозерский.
- Никаких лекарств, – твердо заявил доктор и повторил: – Только покой и свежий воздух.
- Но ведь у него горячка! Вы сами только что сказали...
- К утру должно все пройти. Лучшее лекарство – крепкий сон.

После ухода доктора Илья Романович некоторое время пребывал в раздумье, а потом встал, задернул на окнах шторы и запер дверь кабинета. Достал из ящика письменного стола ключ и открыл им сейф, вмурованный в стену. В сейфе хранились ценные бумаги, и между ними стояла старая громоздкая шкатулка. Эту малоизящную вещицу он и выудил на свет божий. Шкатулка отпиралась особым ключиком, хранившимся в ладанке с портретом покойной Натальи Харитоновны. Илья Романович мельком взглянул на портрет жены и торопливо отпер шкатулку. В ней, в деревянных ячейках, размещались пузырьки со снадобьями и пакетики с порошками. Взяв один из пузырьков, князь запер шкатулку и со всеми предосторожностями возвратил ее на прежнее место.

Евлампия, узнав от старого слуги о безобразной сцене, разыгравшейся во дворе, была вне себя от гнева. Она хотела тотчас объясниться с князем, но критическое состояние детей удерживало ее при них. Борисушка уже несколько часов плакал и никак не мог остановиться. Глеб ушел в себя точно так же, как в день похорон матери, и нянька знала наперед, что никакие врачи ему не помогут. Тогда он почти два года не разговаривал... Неужели все начнется сызнова?

– Может, тебе принести какую-нибудь книжицу? – хваталась она за спасительную соломинку, но мальчик оставался нем и смотрел в потолок потускневшим, ничего не выражающим взглядом. Если бы не испарина, выступившая на его лбу, и не бледный румянец на щеках, можно было бы подумать, что малыш уже отдал Богу душу. Евлампия в отчаянии искусала губы до крови. И ведь как она была спокойна в последнее время насчет Глеба! Как радовалась, глядя на выздоровевшего мальчика, гонявшего по лужам с дворовыми ребятишками! И вот – на тебе! Стоило князю вернуться домой, как малыш снова слет, да как опасно! Слышанное ли дело – отец с сыном просто ненавидят друг друга!

Чем больше она размышляла, тем тягостнее становилось на сердце. Нянька пыталась вспомнить, когда началась эта противоестественная вражда и что послужило ее причиной? Ей вспоминалось время незадолго до смерти Наталички, последние дни ее страшной болезни. Тогда же заболел и Глеб, все думали, что мальчик умрет вслед за матерью. Доктора уверяли князя, что если Глеб и поправится, то останется слабоумным, недоразвитым и немым. Князь всегда с презрением относился к сирым и убогим... «Но ведь мальчик поправился, оказался таким умненьким, говорит, читает книги, – недоумевала нянька. – Что же ему еще нужно, бессердечному лешему? Видать, не в этом дело...»

Глебушка тем временем незаметно сомкнул веки, свернулся калачиком и подложил под щеку ладошку. «Может быть, все еще и образуется, – думала Евлампия, глядя на умильно детскую позу этого так рано повзрослевшего ребенка. – Даст Бог, малыш опять поправится...»

Она взяла со стола свечу и направилась в комнату старшего брата. Борисушка в конце концов успокоился и даже принялся дописывать пьесу, начатую в Липецке, но уснул прямо за столом с пером в руке. Евлампия раздела сочинителя и уложила в постель. Уходя, она накрыла темным платком клетку с попугаем. Мефоша имел обыкновение будить мальчика на рассвете, методично выкрикивая весь свой запас ругательных французских слов, которых знал не меньше, чем иной наполеоновский капрал.

В своей комнате, прочитав вечернюю молитву и готовясь ко сну, Евлампия продолжала думать о внуках.

Она удивлялась сильному, упрямому характеру Глеба. Такой человек пройдет сквозь огонь и воду, вот только придется ему в жизни не сладко. Одолжить бы Глебушке толику мягкости и доброты у Бориса, а то нелюдимость закроет для него многие двери и сердца. Куда ему тогда податься? В монахи? Не хотела бы она такой доли для Глеба... Евлампия вспомнила, как однажды в молодые годы едва не переступила порог монастыря. Она тогда целую неделю провела в дороге, перебираясь от одних родственников к другим, неся крест вечной приживалки. Шла пешком из Владимира в Хотьков, сбила ноги до крови. Съестные припасы давно закончились, просить подаяние было совестно, и карлица питалась лесными ягодами да грибами, в которых понимала толк. Слава богу, уже пошли еловые мокрухи, жирные и вкусные в отличие от сыроежек. Обычно она устраивалась на обочине дороги, чистила грибы ножиком, круто посыпала их солью и ела сырыми. Проходившие мимо крестьяне, очевидно, принимали ее за ведьму. При виде карлицы, с хрустом уплетавшей пестрые сиренево-желтые грибы, которые в округе никто не собирал, мужики и бабы крестились, и трижды сплевывали через левое плечо. На девятый день пути Евлампия издала заприметила голубые купола старинного женского монастыря, известного своим строгим уставом еще со времен Бориса Годунова. Уставшая, изможденная, она твердо решила поступить в святую обитель послушницей. Одна из сестер во Христе как раз пасла под монастырскими башнями гусей, и Евлампия направилась к ней.

Монашка в это время сражалась со строптивым своенравным вожаком. Гусак был не на шутку зол, он вытягивал длинную шею, расправлял мощные крылья, шипел на свою обидчицу и готов был ринуться в бой. Та же, по всей видимости, хорошо изучив характер гусака, запаслась палкой и размахивала ею, словно саблей. Евлампия, с детства любившая птиц и зверей, не могла не вмешаться в эту дуэль. Она приказала испуганной монашке не двигаться, а сама, присев на корточки, запела нежным приятным голосом: «Ах ты, голубчик! Ах ты, гусенька мой золотой! Да каков же ты красавец, каков молодец! Зачем же так сердчать, родненький? Иди ко мне, гусенька, я тебя приголублю, хлебушка дам, кваском напою...» На счет угощения карлица пригнула, у нее не только хлеба не было, но и соли оставалась последняя щепотка. Однако гусак ей поверил. Выругав напоследок монашку, сложив на спине крылья, он вразвалочку, не теряя достоинства, пошел к Евлампии. Словно привороженный, гусь положил ей голову на колени и заурчал совсем по-кошачьи, когда та принялась его гладить да щекотать меж глаз.

– Всякой твари ласковое слово приятно, – вдруг раздался у Евлампии за спиной хрипловатый голос.

Она и не заметила, как на дороге остановились две необычные кибитки, запряженные редкими в этих краях животными – ишаками. Говоривший оказался примерно одного с нею роста. Это был сутулый мужичок с черной, как смоль, бородой, смуглым лицом и копной кучерявых волос. В его зеленых глазах сверкали озорство и цыганская удаль. Евлампия и приняла поначалу незнакомца за цыгана, а необычные кибитки с разноцветными шатрами – за табор. На самом деле это был бродячий цирк лилипутов, а рядом с нею стоял его директор, бессарабский еврей Яков Цейц. Внимание директора приковала комичная сцена у монастырских ворот. Он приказал кибиткам остановиться, и циркачи с интересом наблюдали, как маленькая карлица укрощает взбесившегося гуся. «Это ж готовый цирковой номер!» – воскликнул Яков Цейц и, спрыгнув на землю, направился к Евлампии.

– Если барышня притомилась, мы можем барышню подвезти... – предложил мужичок с ноготок, указывая на кибитки. Он смотрел на нее по-родственному ласково, будто знал Евлампию давно, с самого детства.

«А впрямь, лучше к цыганам, чем в монастырь», – подумала тогда карлица и приняла приглашение, несмотря на то что кибитки ехали в обратную сторону, на Макарьевскую ярмарку в Нижний Новгород.

Два года она выступала в цирке, веселя людей своим удивительным даром подражания голосам детей и животных. В афишах ее называли Евой Кир, урезав настоящие имя и фамилию – Евлампия Кирсанова. Яков Цейц, или просто Янкеле, как звали его в труппе, несколько раз предлагал юной артистке заняться дрессурой, но она отказывалась, полагая, что любая дрессировка не обходится без насилия над животными, а это грех. Насчет того, что грех, а что нет, у нее с Янкеле частенько разгорались жаркие споры. По его религии считалось грехом есть свинину, раков, рыбу с нераздвоенным хвостом, мешать мясное с молочным... «Ишь, разборчивый какой! А мучить несчастных зверушек плеткой и огнем, по-твоему, можно?!» – кричала разгневанная Ева Кир. Однако Цейцу, как никому на свете, удавалось успокоить вспыльчивую девушку. Он был человеком добрым и набожным, молился два раза в день. Где бы ни застал его рассвет и закат солнца, Яков надевал талескотн, филактерии, покрывал голову талесом и, встав на колени лицом на восток, начинал что-то гнусавить, раскачиваться и бить себя кулаком в грудь. Обычно Евлампия вставала рядом, крестилась и читала «Отче наш», не видя в этом никакого противоречия. Цейц также, казалось, его не замечал.

Исколесив всю Европу от Нижнего Новгорода до Атлантического океана и вернувшись опять во Владимир, Ева Кир приняла тяжелое для себя решение навсегда покинуть труппу. Дальше так продолжаться не могло. Они слишком любили друг друга, чтобы оставаться вместе. Евлампия прекрасно понимала, что никогда и никого уже не полюбит так, как любила Янкеле, но религии его принять не могла, хотя и привыкла молиться рядом с ним.

С тех пор минуло двадцать лет. Мало кто догадывался, что шутихе князя Белозерского, пятиуродной бабушке Бориса и Глеба, нет еще и сорока. По ее детскому личику невозможно было определить возраст, а одевалась она всегда, как старуха. Цирк лилипутов под руководством Якова Цейца каждое лето приезжал в Россию, и они непременно виделись и не могли наговориться, надышаться друг другом. Вот только в прошлом, двенадцатом году, Янкеле не приезжал из-за войны. И неизвестно, приедет ли он в погорелую Москву.

Евлампия долго не могла уснуть, ворочаясь с боку на бок. Ей не давала покоя страшная мысль. А что, если она больше никогда не увидит маленького бессарабского еврея с добрыми зелеными глазами? Он сказал ей однажды: «Мы будем сильно страдать и никогда не забудем друг друга. Мы будем жить единственной надеждой еще раз увидеться...» Все эти годы она и жила надеждой увидеть его еще раз, а потом снова ждала. Думала, что так будет всегда, но жизнь диктует свои правила.

Она уснула под утро с молитвой на устах.

Разбудил ее голос Архипа.

– Евлампияшка, просыпайся! Вставай, родная! – возбужденно хрипел старый слуга. – И айда к нам! Глянь, что у нас делается!

– Что случилось? Что с Глебом? – вскочила она как ошпаренная и, накинув на плечи шаль, побежала в детские апартаменты.

То, что она услышала, приближаясь к комнате Глеба, повергло ее в изумление. Вечно мрачный, необщительный Глебушка хохотал так звонко, что наверняка перебудил весь дом. В первый миг ее страшно напугал этот необузданный смех, но как только она заглянула в приоткрытую дверь, все разъяснилось. Глеб, как турецкий султан, восседал на подушках, а на постели, у него в ногах, сидел Борисушка. В руках он сжимал исчерканную рукопись, в которой Евлампия сразу опознала неоконченную пьесу.

– Ты, братец, верно, чего-то не понимаешь! – возмущался Борисушка. – Что ты нашел здесь смешного? Вот послушай еще раз...

Борис был крайне смущен реакцией слушателя. Набрав в легкие воздуха, как настоящий артист перед трудной мизансценой, он изобразил страдание на своем кукольном личике и продекламировал почти басом, придав голосу трагическую хрипоту:

Почто я лыщусь твои столь хладны видеть взоры?
Почто тебе одной, суровая, пою?
Прервать ли мне стихи? Сложить ли песни новы?
Сложу...

Глебушка, не дослушав до конца, свалился под кровать и забился в конвульсиях от нового приступа смеха. Евлампия, стоя за дверью, закрыла обеими руками рот, чтобы не прыснуть и не выдать своего присутствия. Старый Архип за ее спиной хохотал беззвучно, обнажив беззубые десны.

– Ну, право же, братец, я не думал, что ты еще так мал, чтобы не понимать трагедии! – в отчаянии всплеснул руками Борисушка.

– А я, братец, не думал, что умею так долго смеяться, – вылезая из-под кровати, задыхаясь, сказал Глеб.

«Он говорит! Опять говорит!» – ликовала за дверью Евлампия. Долее она не могла удержаться и, вбежав в комнату, обняла внуков.

– Ах вы, мои касатики, голубочки сизокрылые! Оба здоровы нынче, а давеча-то как напугали меня!

Глеб отстранился от няньки, Борисушка же, обиженно выпятив нижнюю губу, бросился к ней на шею и принялся жаловаться:

– Евлампиишка, Глеб не понимает моей трагедии, смеется...

– Не надо сердиться на брата, – погладила его по голове шутиха и крепче прижала к себе, – ведь Глебушка твой первый слушатель. Если ему смешно, знать, трагедия не шибко удалась. А не попробовал ли тебе, Борисушка, написать комедию? Так часто бывает – то, что кажется печальным, на самом деле смешно, и, наоборот, смех часто кончается горькими слезами...

Она бы говорила и дальше, но вдруг увидела, что Глеб в страхе съежился, сразу сделавшись меньше ростом. Карлица обернулась. В проеме двери стоял князь Илья Романович, облаченный в черный бархатный халат. Он зловеще взирал на происходящее, словно ворон, узревший вдруг беззаботно прыгающих синичек.

– Почему мне никто не желает «доброго утра»? – раздраженно обратился он к присутствующим.

– Доброе утро, папенька, – первым отозвался Борис. Ровными шажками заводной куклы он подошел к отцу и поцеловал ему руку.

– Доброе утро, батюшка, – как всегда по-старинке, приветствовала его шутиха. При этом она не двинулась с места, и в голосе ее прозвучали холодные и даже пренебрежительные нотки.

Старый Архип хлопнулся перед барином на колени и плаксиво заныл:

– Прости, батюшка, за вчерашнее! Не ожидал я, что вернетесь так скоро...

– Ну-ну, встань с колен-то, – неожиданно ласково ответил князь. – Попал под горячую руку, не серчай... И ты меня прости, Борисушка, – он поцеловал в лоб старшего сына. – Отец твой бывает излишне крут... Ну, да отцу ведь можно и простить это. Ведь у него о тебе сердце болит.

Князя будто подменили. Таким добрым и разговорчивым, как в это утро, домочадцы его не видали, пожалуй, с тех пор, когда Наталья Харитоновна была еще здорова.

– И ты, Евлампия, меня не сильно ругай, – продолжал виниться князь. – Видишь, сам каюсь, публично.

– Ты, батюшка, никак, выпил натошак, с утра? – не узнавала его шутиха.

– Не пил и не собираюсь. Я только решительно желаю мира и согласия в своей семье! – заявил Илья Романович.

– К чему бы это? – недоумевала Евлампия.

Князь тем временем присел на кровать Глеба и, вынув из кармана халата большую конфету, протянул ее сыну.

– На, Глебушка, скушай, – ласково предложил он, – и больше не сердчай на отца. Забудем былое, начнем все сызнова.

Глеб, однако, не торопился брать конфету из рук отца. Он по-прежнему глядел на него волком.

– Возьми, раз батюшка угощает, – подыграла князю нянька. Сердце ее в этот миг готово было выпрыгнуть из груди от счастья. Наконец-то отец подобрел к младшему сыну, нашел и для него ласковое слово.

– Ну, право, братец, не упрямясь. – Борисушка подошел вплотную к брату и, подбадривая, похлопал его по плечу. – Конфекта, должно быть, вкусная. А не то я сам ее съем...

Он ловким движением выхватил из рук отца конфету и стал ее разворачивать, очевидно, желая подразнить Глеба.

– Не смей!!! – вдруг не своим голосом заорал Илья Романович. Он ударил Бориса по руке. Конфета упала на пол, и князь, вскочив на ноги, поспешно раздавил ее каблуком.

Все оцепенели. Борисушка, придя в себя, готов был уже разреветься, но отец, тяжело дыша, произнес:

– Пойдем, я дам тебе другую... Никогда не бери чужого... Я видеть этого не желаю...

Лицо его было налито кровью, в глазах стоял неподдельный ужас. Он сгреб Бориса на руки и вынес его из комнаты.

Евлампия пребывала в состоянии ступора. С ее глаз будто спала пелена, и миг прозрения был настолько тяжел, что слова застряли в горле. Осталось единственное желание – бежать из этого страшного дома куда глаза глядят.

Тем временем простодушный Архип, бурча что-то себе под нос, хотел убрать с помощью веника и совка раздавленную конфету, но Глеб закричал, подражая отцу:

– Не смей!!!

Мальчик опрометью прыгнул с кровати, выхватил из рук слуги совок и сам соскреб с пола конфету. Понюхав ее, Глебушка усмехнулся и сказал остолбеневшей Евлампии:

– Папенька не оригинален. Это «лекарство» он мне уже давал...

Нянька выдавила хриплый звук. Глеб удовлетворенно кивнул, будто услышал именно тот ответ, которого ожидал.

Глава третья

Надежды и сомнения торговли табаком. – Несколько встреч в пути. – Раскольник в императорском парке

Сестра застала Афанасия в гостиной за шокирующим занятием. Он снимал со стены иконы, которые утром по ее приказу вывесила напоказ девка Хавронья.

– Что ты делаешь, братец? – картинно изобразила ужас Зинаида.

– Ты сама не понимаешь? Живешь, можно сказать, у царя под носом, и вдруг на тебе – развесила дедовские иконы! Нельзя быть такой распустехой, сестрица, – выговаривал ей Афанасий. – Не ровен час, прознает квартальный и отправит тебя по этапу в Сибирь. Вспомни, как родители наши утаивали веру, дедовские иконы держали под занавесками...

Зинаида не стала объяснять ему, что местный квартальный надзиратель никого не отправляет в Сибирь за иконы, а только берет взятки, и что нынче в России вольно живет всяким религиям, даже на раскольников смотрят сквозь пальцы. Она решила, что рвение брата ей на руку, и сама снесла иконы в чулан.

– Что думаешь делать дальше? – спросила она, вернувшись. – Долго хорониться у меня не сможешь, народ здешний любопытен, все выведает.

– Да, место многолюдное, – согласился он. – Вот пристрою Елену Денисовну, а потом ворочусь в леса.

– Как же ты ее пристроишь? – не могла взять в толк Зинаида.

– Ей только надо попасть к матушке-императрице, рассказать про дядюшку-злодея, а уж та сама решит, как дальше быть.

– Ну а ты тут каким боком? – усмехнулась Зинаида. – Аль при дворе мечтаешь устроиться? Места там хлебные да непыльные...

– Сам пока не знаю, – пожал плечами Афанасий, – там видно будет. На что-нибудь да сгожусь Елене Денисовне. Я спас ее от французов, спас от разбойников, спасу и от дядюшки-кровопийцы. Она мне теперь названная сестра, и помочь ей – мой первейший долг. – Он сгорбился, словно взвалил себе на спину тяжкую ношу.

– Какой такой долг, не пойму, – развела руками Зинаида.

– Тут и понимать нечего, – отрезал брат и добавил, понизив голос: – Елену Денисовну никому в обиду не дам.

– Ты не влюблен ли, Афанасий? – ехидно рассмеялась она.

– Даже думать об этом не смей! – прикрикнул он на сестру.

– Тогда я в толк не возьму, братец, зачем тебе все эти хлопоты? Или... погоди... – Зинаида вдруг осенило. – Ты, кажется, сказал вчера, что она ждет большое наследство? Так вот где собака зарыта! Хочешь потом получить с нее кругленькую сумму, так?

Афанасий не успел ничего ответить, потому что в это время в комнату вбежала Хавронья.

– Хозяйка, – взволнованно обратилась она к Зинаиде, – госпоже наверху плохо, ее прямо выворачивает наизнанку...

Брат и сестра бросились в комнату Елены. Юная графиня полусидела на смятой постели. Она была бледна, как полотно, и, увидев вошедших, чуть слышно прошептала:

– Не знаю, что со мной творится...

– А я знаю! – вдруг воскликнул Афанасий. – Здесь такая вонь, кого угодно стошнит! Надо перевести гостью в столовую, – предложил он сестре. – А я переберусь сюда.

– Как скажешь, братец – с деланой улыбкой повиновалась Зинаида. Она решила не перечить, твердо уверовав, что Афанасий извлечет выгоду из знакомства с Еленой и поделится с ней потом частью графского наследства.

Он бережно взял девушку на руки и отнес ее в столовую, уложив на диван. Действительно, к вечеру юная графиня почувствовала себя гораздо лучше и даже поужинала с братом и сестрой. Зинаида была с нею обходительна и дружелюбна, однако вопросы, которые она ей задавала, Афанасия озадачивали.

– Сколько душ крестьян было у покойного вашего батюшки? – интересовалась лавочница, пристально разглядывая гостью.

– Точно не могу сказать, – отвечала графиня. – К подмосковной усадьбе, куда мы собирались с матушкой бежать от французов, было приписано до двухсот душ, а то и поболее. А всего, кажется, около десяти тысяч мужиков в семнадцати деревнях.

Цифра произвела на Зинаиду огромное впечатление. Она заерзала на стуле и с уважением взглянула на брата.

– Должно быть, ваши деревни приносили немалый доход? – продолжала она гнуть свою линию.

– Я никогда особо этим не интересовалась, – призналась Елена. – Знаю только, что доходы во многом зависят от управляющих имениями и от старост деревень, а также оттого, насколько хорошо родит земля в данной губернии. К примеру, отец жаловался на одного управляющего в нашем южном поместье. Там и земля была хороша, и крестьяне трудолюбивы, а вот управляющий попался вороватый, да к тому же беспричинно истязал бедняг. Батюшка хотел его прогнать, но война помешала...

– Довольно об этом, – вмешался Афанасий, увидев, что воспоминания действуют на девушку не лучшим образом. Графиня погрузилась, ее щеки снова покрыла нездоровая бледность. – Завтра я поеду в Павловск, на разведку, – сообщил он и добавил: – Засиживаться здесь нам без надобности.

– погоди-ка, братец, – остановила его благородный порыв Зинаида. – Так дело не пойдет. Посмотри на себя в зеркало! Ты одет, как разбойник, а с такой бородищей могут расхаживать по столице разве что попы. Бороду надобно сбрить, волосы коротко остричь, и еще я постараюсь одолжить для тебя немецкое платье.

– Одолжить? Купить тогда уж? – удивился Афанасий.

– С луны ты, что ли, свалился? – рассмеялась она. – На что покупать дорогую новую одежду, когда носить ты ее будешь всего пару дней! Васильевский остров кишмя кишит немцами. У меня много знакомых среди лавочников. У них-то и раздобуду.

– Твоя сестрица очень разумно говорит, – впервые за последние сутки улыбнулась графиня. – Матушка-императрица сплошь окружена немцами, и в таком наряде тебе легче будет проникнуть во дворец. И насчет бороды – правда! В Петербурге ты станешь легкой добычей для первого встречного жандарма.

– Раз так, будь по-вашему, – развел руками Афанасий. – Брейте, стригите, хоть на лысо. Мне не привыкать.

За какой-то час Зинаида с помощью мыла, бритвы и ножниц совершила чудо, изменив внешность брата до неузнаваемости. Елена ахнула, когда перед ней предстал безбородый красавец, с сияющими небесно-голубыми глазами. Афанасий разом помолодел, будто вместе с разбойничьей гривой сбросил и бремя тяжелых воспоминаний. В первую минуту графиня даже слегка смутилась, едва узнавая в этом парне своего спасителя, и только встретив его взгляд – преданный и бесконечно добрый – успокоилась и ответила ему улыбкой.

Граф Евгений Шувалов, проехав больше половины пути, начал понимать, что денег, вырученных им за перевод зингшиля, вряд ли хватит до Санкт-Петербурга. Хоть пристанционные трактиры, не в пример московским, были дешевы, из-за нехватки лошадей приходилось засиживаться в них подолгу. Среди путешественников преобладали господа офицеры, мелкие чиновники, а также небогатые купцы, не имевшие собственных экипажей. Все желали непременно поспеть в столицу до разлива рек.

Станционные смотрители не брезговали взятками, и если у путешественника не было при себе какой-либо важной государственной бумаги, дело решали деньги. Евгений вынужден был несколько раз прибегнуть к этому старому русскому способу, ускоряющему любое предприятие, и оттого кошелек его быстро опустел. Написать же матушке о своем бедственном положении и попросить помощи он считал для себя крайне унижительным. Да и вряд ли Прасковья Игнатьевна смирится над непокорным сыном, посмевающим ослушаться ее приказа ехать во Владимирское поместье и вместо этого тайно сбежавшим из дома. Уж чего-чего, а ослушания она никогда ему не прощала.

На одной почтовой станции Евгений застрял на трое суток. Досуг он проводил в трактире, в компании двух офицеров, время от времени посылая Вилимку к смотрителю узнать, нет ли лошадей? Мальчишка всякий раз возвращался с понурым видом и красноречиво качал головой. Ему тоже надоело торчать в этой дыре.

– Сдается мне, господа, – обратился как-то к своим товарищам граф Евгений, разливая в кружки кислое местное пиво, – что мы не выберемся отсюда до самого лета.

Офицеры угрюмо с ним соглашались. Один из них, совсем еще юный поручик гренадерского полка, с едва пробившимися над губой усиками и наивными глазами, крепко выругался, вызвав усмешки у собутыльников. Его спутник, постарше, в чине гусарского ротмистра, завел речь о женщинах.

– Что еще нам остается, господа, в нашем незавидном положении? – цинично заметил он. – Застряли мы тут надолго, а в компании женщин время пройдет незаметно. Вот не далее как вчера я познакомился с одной весьма пикантной особой... – Он обвел взглядом трактир, ища кого-то, и вдруг встрепенулся. – Да вот она, кстати! Легка на помине! Глашка! – крикнул ротмистр статной девке с распущенными черными, как смоль, волосами. Та о чем-то развязно беседовала с трактирщиком, облокотившись на прилавок, и тут же обернулась к офицерам, заслышав свое имя. – Поди сюда! – позвал ее ротмистр.

Глафира не заставила себя долго ждать. Через миг она уже уселась на коленях у гусара и, выхватив из его рук кружку с пивом, приложила к ней губами.

– Фи! Что за дрянь вы пьете? – поморщилась Глашка, ставя на стол кружку.

– А тебе небось хотелось бы пуншу? – с лукавой улыбкой подмигнул ей ротмистр.

– Разумеется, красавчик, – она растрепала его редкие волосы, – я ничего, кроме пунша, не пью.

– А вот приведешь к нам подружек, тогда закажем пунш. – Он покачал ее на коленях, чем вызвал у Глафиры приступ смеха.

– Постойте, ротмистр, – остановил его Евгений, – на меня не рассчитывайте.

– Разве вы не будете с нами пить, граф? – На этот раз гусар подмигнул юному поручику.

– Пить я не отказываюсь, – несколько смутился Шувалов. – Но вот... – Он все больше мешался и не знал, как выразиться, никого не обидев.

– Они брезгуют нами, – проницательно закончила за него Глашка, бросив на Евгения недобрый взгляд.

– Если бы, господа, вы были в моем положении, – Евгений упорно не смотрел в сторону девицы, – то, не сомневаюсь, тоже воздержались бы от веселья.

– В каком положении, граф? Объяснитесь, – заинтересовался юный гренадерский поручик.

– Да будет вам известно, что я предпринял это путешествие с одной лишь целью – найти свою бывшую невесту, которую не так давно от себя оттолкнул...

Шувалов начал свой длинный рассказ с пожара Москвы, с того момента, как его дворецкий Макар Силыч принял обугленное тело няньки Мещерских за труп его невесты. Офицеры слушали с большим вниманием и ни разу не перебили его, а Глафира, ерзая на коленях ротмистра, прямо-таки пожирала глазами рассказчика. Ее сознание, замутненное алкоголем,

постепенно прояснялось, и когда Евгений начал описывать внешность Елены, Глашка вдруг разразилась заливистым смехом.

– Ты что, девка, спятила?! – толкнул ее в бок гусар. – Что смешного тут нашла?

– Это я так, сдуру, – оправдывалась Глафира, с трудом унимая свое веселье.

Однако Евгению этот смех не показался случайным. Его будто что-то подтолкнуло.

– Вы видели Елену? Что-то о ней знаете? – глядя ей в глаза, отрывисто спросил он.

Вместо ответа Глашка выхватила из рук ротмистра кружку и, осушив ее залпом, с грохотом поставила на стол.

– Вижу, не дожدهшься от вас пуншу, – хрипло вымолвила она и сползла с колен гусара.

– Эй, куда ты? – возмутился тот.

– Пойду на двор, тут дышать нечем. Может, и подружек повстречаю, вам пришло.

Глафира заплетающейся походкой направилась к двери.

– Она что-то знает о вашей невесте, – в свою очередь, сделал вывод юный поручик. – Вам, Шувалов, надо бы ее догнать.

– И выпотрошить как следует! – добавил ротмистр, явно уязвленный тем, что не снискал благосклонности у распутной девицы.

Глафира между тем вышла из трактира. Евгений бросился вслед за ней.

Во дворе не было ни души, если не считать старой клячи, нервно прядущей ушами и шамкающей беззубым ртом. Она была впряжена в какую-то рухлядь, которую язык не поворачивался назвать каретой. Подобных сооружений на колесах Шувалов не встречал ни в Москве, ни в Петербурге. Именно оттуда, из этой рухляди, отчетливо донесся чей-то всхлип. Он подошел ближе. Вместо оконца в карете зияла черная дыра. Евгений заглянул внутрь и увидел Глафиру. Она плакала, размазывая слезы по опухшему лицу.

– Почему вас так расстроил мой рассказ? – спросил он.

Девица вздрогнула, повернулась к нему, но не произнесла ни слова.

– Вы что-то знаете о Елене Мещерской, – продолжал граф, – но не хотите говорить. С ней случилось что-то страшное? – Он произнес последнюю фразу медленно, выделяя каждое слово.

Глафира и на этот раз не удостоила его ответом.

– Почему вы молчите?! – сорвался на крик Евгений.

– Не знаю я никакой Елены Мещерской, – выдавила сквозь слезы молодая женщина. – Оставьте меня в покое!

– Вы лжете! – в гневе бросил он.

На этот раз Глафира посмотрела на графа с иронической улыбкой и сказала тихо, почти ласково:

– Послушай-ка моего совета, касатик. Коли пташка выпорхнула из клетки, не надобно ее ловить. Пускай порхает себе на воле!

И она залилась таким немелодичным смехом, что в окнах станционного трактира задребезжали стекла. Евгений растерялся. Он не знал, как трактовать слезы и смех этой распутницы, но продолжал считать, что та наверняка видела Елену и, возможно, общалась с ней.

За спиной у него раздался топот копыт. Во двор въезжала карета. Евгений обернулся и не поверил своим глазам. Из остановившейся кареты вышел молодой офицер высокого роста, с залихватски закрученными кверху усами, с непослушными, торчащими в разные стороны волосами, на которые едва налезал кивер. Его серые грустные глаза смотрели на мир строго и с недоверием.

– Рыкалов! Вот так встреча! – воскликнул Евгений, узнав в офицере боевого товарища.

– Эжен? – с некоторым сомнением произнес тот, но тут же был заключен в объятия друга. – Погоди-ка! – на миг отстранился от него Рыкалов. – Дай сперва взглянуть на тебя. А как же твои ноги?

– Как видишь, снова носят это брненное тело, – засмеялся молодой граф. – Я цел и невредим, Андрюха...

– Это похоже на чудо! – все больше удивлялся Рыкалов.

– Чудо, что мы с тобой встретились...

– А что ты здесь делаешь, кстати? – поинтересовался боевой товарищ.

– Жду лошадей. Так я, глядишь, и за месяц не доберусь до Петербурга, вот уже третьи сутки сижу в этой дыре, – развел руками Шувалов.

– А прислуги много с тобой?

– Один мальчишка, – признался Евгений, – я, брат, привык по-спартански...

– Тогда собирайся. Через полчаса выезжаем.

– Так ведь лошадей нет, а твоим нужен отдых.

– Для меня, брат, лошадей найдут, – не без гордости заявил Рыкалов. – Я везу в столицу письма государя. Так что не теряй времени...

Через час они летели в санях, запряженных четверкой покормленных молодых рысаков. Дорога к ночи обледенела, и на поворотах сани заносило так, что они едва не опрокидывались. «Ух, ты! – только и покрикивал Вилимка, устроившийся на козлах рядом с кучером. – Эх, их забирает! Аж душу вытряхивает!»

– А ведь ты оказался прав, Эжен, – выдохнул Андрей в ухо Шувалову, припомнив их спор перед взятием Вильно, – русский Бог, наверное, и вправду добр и справедлив, коль смиловился над тобой...

Шувалов не ответил, сделал вид, что спит. Он никак не мог избавиться от наваждения. Перед глазами все стояло заплаканное лицо распутной девицы, в ушах звенел ее смех, полный ненависти и презрения... К кому?

О чем же так горько плакала Глафира Парамоновна в старой изуродованной карете своего бывшего любовника Дмитрия Савельева? Рассказ Евгения напомнил ей о собственной неудаче. Она хотела женить Савельева на богатой купеческой дочке и остаться при них экономкой. Вместо этого Дмитрий сыграл потешную свадьбу с юной московской дворяночкой-бесприданницей, невеста откуда взявшейся в здешних краях. С его стороны это была глупейшая затея. Свадьба окончательно разорила Савельева, и даже усадьба его была прибрана к рукам Фомой Ершовым, бывшим крепостным крестьянином, а ныне богатым купцом. Глафира знала обо всем, что творилось в Савельевке. Верные люди ежедневно привозили ей в Кострому вести из родной деревни. Дворяночка сбежала от Савельева на третий день, да еще увела из стойла его любимого коня Цезаря, с которым он прошел две войны. А ведь Цезарь никого близко к себе не подпускал, копытами мог зашибить насмерть. Фомка Ершов с помощью судебных приставов описал все имущество своего бывшего барина и выгнал его из собственного дома. Савельев вот уже несколько дней жил в доме отца Георгия, местного священника, которого раньше все звали не иначе как Севкой Гнедым.

Глафира боялась показываться Дмитрию на глаза, после того как украла его фамильную карету. Кроме того, она продолжала жить в доме его покойной матери, полученном ею в наследство от старого барина. «Все мы обокрали Митьку! Пустили по миру простую душу!» – говаривала она себе не раз в порыве раскаяния, выпив немалое количество пунша в станционном трактире. Потом ей становилось жаль саму себя, ведь она, с ее-то умом и внешностью, была достойна иной доли, чем таскаться по вонючим трактирам, служа кратковременной услугой для заезжих господ офицеров и мелких купчишек. Тогда она начинала рыдать, смеяться без причины, и дело кончалось истерикой.

На другое утро после встречи с Шуваловым она решилась на отчаянный шаг. От верных людей Глафира знала, что Дмитрий на днях собирается ехать в Петербург. Она помнила, что у него в столице живет богатый родственник в высоких чинах. Не медля больше ни секунды,

Глафира отправилась в Савельевку. Она повинится перед бывшим любовником, вернет ему карету, и он, сжалившись, возьмет ее с собой. Втайне она мечтала устроиться в богатом столичном доме прислугой. Ну а там, коли повезет понравиться хозяину, можно завертеть им как угодно... Почему бы Дмитрию не рекомендовать ее своему родственнику, к примеру?

Дом отца Георгия представлял собой одноэтажное бревенчатое строение с просевшей крышей. Этот дом выстроил еще дед Севки Гнедого, бывший первым савельевским священником. Так и передавался местный приход от деда отцу, от отца Севке, и двое Севкиных сыновей-близнецов уже являлись его наследниками.

Въехав во двор Севкиного дома, Глафира первым делом обратила внимание на коня, в нетерпении бьющего копытом об лед. Конь был уже оседлан, к седлу приторочен кожаный дорожный мешок. «Верно, кто-то из крестьян сжалился над бывшим баринком и дал ему в дорогу своего коня», – подумала Глафира. В это время в сених раздался знакомый смех, и дверь распахнулась.

С первого взгляда она поняла, что бедный разоренный барин вовсе не предавался унынию. Савельев вышел на крыльцо не в рубище и не с сумой, как представляла его себе в последнее время Глашка, а в гусарском мундире, хотя старом, но тщательно вычищенном и выглаженном. На боку у него висела сабля, за поясом торчал пистолет. Таким он некогда явился в родные пенаты после турецкого похода. Дмитрий выглядел посвежевшим и даже помолодел. Подстриженные усы лихо закручивались вверх, непослушные волосы были аккуратно уложены и смазаны помадой.

– Чего явилась, Глашка? – все еще смеясь, крикнул он ей с порога. – Неужто покаяться решила, вернуть покражу?

– Так и есть, Дмитрий Антонович, – ответила та, застенчиво потупив взгляд.

– Можешь оставить себе этот хлам на память. Я не жадный.

– Я не только повиниться пришла, – пролепетала Глашка, не поднимая глаз. – А с просьбой...

– С просьбой? Вот те на! – развел руками бывший гусар. – Да ты же меня начисто обобрала, чего ж тебе еще?! Может, мне шкуру с себя содрать, тебе, ведьма, на сапожки?!

Глашка бросилась к его ногам и, обняв их, выпалила скороговоркой:

– Взяли бы вы меня с собой в столицу, Дмитрий Антонович, да рекомендовали бы в приличный дом служанкой! По гроб жизни была бы вам обязана и пригодилась бы не раз!

– Да ты что, красавица, сдурела? – рассмеялся Савельев, оттолкнув ее от себя начищенным сапогом. – Я ведь потом стыда не оберусь. Ты же воровка!

– Побойся Бога, Митя, – прошептала она сквозь слезы, – верой и правдой служила тебе целый год. А с купчихой ты сам сплеховал. Еще одно письмецо, еще свиданьице, и она была бы твоя!

– Да кто же после такого... – начал было Дмитрий, но Глафира, с циничной усмешкой на губах, перебила:

– Не знаешь ты женщин, Митя...

– Это верно, – согласился он. – Жил с тобой целый год душа в душу, а ты меня обворовала. И жену мою заодно!

– Да какая она тебе жена, – повеселела Глафира. – Вся округа только и гудит о твоей потешной свадьбе.

– Им, дуракам, невдомек, что Севка обвенчал нас по-настоящему. Вот такая потеха, Глафира Парамоновна. – Савельев сделался вдруг серьезным, морщинки, которых отродясь у него не было, прорезали высокий лоб.

– Иди ты... – не поверила она своим ушам.

– Я не спрашиваю, куда ты дела деньги моей жены, – продолжал тот все угрюмее. – Наверняка прокутила. Не мне читать морали, этим пускай занимается Севка Гнедой. Но один совет дать могу.

– Какой такой совет? – насторожилась Глафира.

– В доме моей матери пять комнат. Тебе вполне хватит одной, остальные четыре отдавай внаем. Это лучше, чем таскаться по кабакам. Накопишь денег, выйдешь замуж, и все в твоей жизни еще наладится. Я тебе зла не желаю. – Он говорил так, будто был обречен на вечную каторгу и прощался навсегда.

Глафира уезжала со двора Севки Гнедого в раздвоенных чувствах. Сердце глодала тоска, ведь она навсегда теряла человека, которого считала близким и даже родным. И пусть этот новый Савельев, трезвый и рассудительный, был ей мало приятен, она чувствовала, как вместе с ним уходят из ее жизни веселье, беспечность, постоянное ощущение праздника, и, может быть, само счастье. С другой стороны, совет Дмитрия на самом деле открывал для нее новые горизонты. И как она сама, очумевшая от угарного загула и пьянства, не додумалась до такой простой вещи – сдавать пустые комнаты внаем? Глафира Парамоновна внезапно решила остепениться и, не мечтая о больших барышах, начать жизнь с чистого листа.

Сердечно распрощавшись с Севкой Гнедым и с его домочадцами, Дмитрий решил навещать закадычного друга Ваську Погорельского. Сделать это оказалось не так уж просто, потому что отец держал его под замком и при виде гостя сразу начал скандалить. Однако, узнав, что Савельев навсегда покидает родовое гнездо, тот несказанно обрадовался и разрешил друзьям проститься.

Васька был заточен в маленькой комнатке с низким потолком, единственным предметом обстановки которой являлось кресло-качалка. В нем и качался узник, здоровенный детина с распухшим от побоев лицом. Дмитрий застал его за удивительным занятием. Погорельский читал книгу. Вернее сказать, не читал, а разглядывал картинки в лубочном издании русских сказок, какие продают на ярмарках за пятак, для детей.

– Митяй! – хрипло заорал Васька при виде друга, выскочил из кресла и бросился его обнимать. – Откуда ты? Сквозь стену, что ль, просочился?

– Папенька твой разрешил нам попрощаться, – пояснил Савельев. – Еду, брат, в Петербург. Может, больше не свидимся.

– Как же так? – растерялся Васька.

– А вот так. Сам знаешь, деревню мой батенька отписал крестьянам, а усадьбу мы с тобой вместе вроде прокутили. Боком вышла мне свадьба, – добавил он, отведя взгляд. – Теперь усадьба принадлежит Фомке Ершову. Пошла в уплату за долги.

– Вот ведь ирод окаянный! – возмутился Погорельский. – Ну ничего, Митяй, я подговорю верных людей. Они подпустят ему петуха!

– Да ты что, совсем безголовый? – Савельев схватил приятеля за грудки и стал трясти, как грушу. – Это же дом моих предков! Меня мать там в муках рожала!

Дмитрий вдруг впервые осознал, чего лишился по своей беспечности. Сердце защемило. Он отпустил Ваську и смахнул набежавшую слезу. Васька же не сдержался и разревелся, как в детстве, размазывая слезы кулаками по щекам.

– А меня папенька женит, – плаксиво жаловался он, – как пить дать, женит. На перезрелой девице, толстой, неуклюжей корове...

– Значит, брат, мы оба будем женаты, – философски заключил Дмитрий.

– Да ты-то с какой стати? – не понял Васька.

– А с такой. Севка меня взаправду обвенчал...

– Д-да... как он посмел? Д-да... за это его надо...

– Ничего не надо, Василий, – перебил Савельев заикающегося друга. – Все он правильно сделал. Пора нам с тобой, брат, остепениться. Вот только жена моя, Елена Денисовна,

от обиды пустилась в бег. Первым делом разыщу ее в Петербурге, брошусь в ноги, буду прощения просить. Она, знаешь, простит. Я ее успел узнать. Она милая такая, дитя еще.

– Слышь, Митяй, – тихо окликнул его Васька после долгой паузы, – не искал бы ты ее...

– Это еще почему?

Васька опустил подбитые глаза долу и тяжело вздохнул.

– Ты что-то знаешь о ней? – догадался Дмитрий. – Ну-ка, выкладывай!

– Мои крестьяне видели, – неохотно признался Погорельский, – как Цезарь понес ее в Касьянов лес...

– Час от часу не легче! – Бывший гусар ударил кулаком о ладонь. В глазах его вспыхнул дикий огонь, по скулам нервно заходили желваки. – Что ж, придется заглянуть сперва к Касьянычу.

– Куда ты один к разбойникам? – заволновался Васька. – Попроси хоть у папеньки людей в помощь...

– Прощай, Василий! – порывисто обнял друга Дмитрий. – Это мое дело, мой и ответ будет. А ты не поминай лихом!..

Он вихрем помчался к Касьянову лесу, приказывая себе ни о чем не думать, чтобы не пасть духом окончательно. Дмитрий прекрасно знал, что банда Касьяныча еще не пощадила ни одной женщины, случайно набредшей на их логово. Обычно это были крестьянки из соседних деревень, слишком глубоко зашедшие в лес в поисках грибов и ягод. Их находили потом зверски изнасилованными, повешенными на деревьях.

Вопреки ожиданиям сестры, ни новое платье, ни коротко остриженные волосы, ни выбритые до синевы щеки не помогли Афанасию проникнуть в Павловский дворец, тщательно охраняемый со всех сторон. Солдаты, одетые по моде прошлого века, в немыслимых ботфортах, в белых париках с косичками казались не настоящими, а игрушечными, однако приблизиться к ним бывший колодник так и не решился. Необходимо было найти хотя бы крохотную лазейку, чтобы миновать стражу дворца. Тогда бы Елена имела шансы, прогуливаясь по парку, встретить Марию Федоровну и броситься ей в ноги. Именно так представлял себе Афанасий аудиенцию юной графини. Он видел в своих мечтах, как нежная выхоленная рука Ее Величества ложится на светлую головку несчастной девушки, как из глаз растроганной императрицы катятся слезы жалости и сострадания. «Милое дитя, сколько тебе пришлось выстрадать!» – в сердцах воскликнет она и поведет Елену во дворец, чтобы утешить и восстановить справедливость...

Полдня он исследовал подступы к огромному парку и всякий раз натывался на солдат в париках, смотревших недобро в его сторону. «Вот и немецкое платье не сгодилося! – досадовал про себя раскольник. – Зря грех на душу взял, зря мудрила Зинка!» Последней надеждой Афанасия была березовая роща, которая естественным образом переходила в парковый ансамбль. Путь не самый близкий, но показавшийся ему единственно верным. Проваливаясь по колено в подтаявшие сугробы, он блуждал по лесу около часа, пока не наткнулся на вытоптанную в снегу тропку. Потом увидел вдалеке диковинную башню круглой формы и, забыв об осторожности, бодро зашагал к ней.

– Эй, кто такой? Чего здесь потерял? – раздалось вдруг, как гром среди ясного неба.

Афанасий не заметил по левую руку от себя старой, укрытой засохшим вьюном беседки. Она была засыпана снегом и походила на медвежью берлогу. Он бы предпочел в этот миг встретиться с самым лютым медведем-шатунном, чем с шупленьким узкоплечим офицером, преградившим ему путь.

– Чего молчишь? Язык проглотил?

Офицер был без шляпы и парика. На голове у него почти не имелось растительности, если не считать нескольких рыжих жидких волосков, тщательно завитых на затылке. Высокий

лоб переходил в увесистый нос, нелепо смотревшийся на лисьей мордочке. Маленькие, глубоко посаженные глазки высокомерно буравили Афанасия. С первого взгляда раскольник понял, что эта встреча может стоить ему головы.

В этот миг из беседки послышался нежный женский голосок. Дама щебетала по-французски, называя офицера Мишелем. Очевидно, это была фрейлина не из важных, с которой Мишель разводил амуры. Судя по укоризненным интонациям, она досадовала на то, что офицер оставил ее одну в беседке ради какого-то незнакомца.

– Ладно, не твоего ума дело! – по-русски оборвал Мишель нежный голосок и вновь обратился к Афанасию: – Ну что, так и будешь стоять истуканом?

– Отчего же, ваше благородие, – заговорил Афанасий, вдруг осмелев, – могу и слово молвить. Зовут меня Пантелеем. Я – сын купца Коловратова. Прогуливаюсь тут в свое удовольствие, никого не забираю.

Парень постарался принять глупо-самодовольный вид, характерный, по его мнению, для сынка богатого купца. Вероятно, он был никудышным актером, потому что офицер покачал головой.

– Врешь, не похож ты на купеческого сына. Бумаги какие-нибудь при себе имеешь?

– Можно и бумаги показать, – пожал плечами бывший колодник, – коль не верите.

Правой рукой он полез за пазуху, будто за бумагами, а левую, сжав в кулак, резко обрушил на плешивую голову офицера. Мишель, словно подтаявший снеговик, рухнул в сугроб. Из беседки раздался оглушительный женский визг. Афанасий, ни секунды не медля, бросился наутек. Он загодя решил бить офицера левой рукой, чтобы не зашибить насмерть. Такое с ним уже случалось, парень не мог точно рассчитать силу удара.

Он бежал назад в рощу, но вскоре сбился с пути и неизвестно сколько бы еще проплутал, если бы не вышел к узкой извилистой речке. Долго прислушивался, нет ли за ним погони, а успокоившись, присел на старый замшелый пенёк. Неожиданно, будто из другого, лучшего дня, на него подул южный ветер, ласковый и теплый, пахнувший ванилью, обещающий скорую весну. Афанасий огляделся вокруг и заметил, что вдоль берега, из-под снега, между клочьями жухлой прошлогодней травы уже пробивались первые подснежники, синеватые и наивные, как глаза новорожденного младенца. Рядом, не обращая внимания на присутствие человека, храбрая выхухоль чистила передними лапками нос-хоботок и при этом потешно чихала, словно нанюхавшись табаку. Речка, несмотря на лютую зиму, рано вскрылась. А может, и не замерзала вовсе? Может, привыкла не замерзать, ведь до двенадцатого года выдалось несколько теплых зим подряд, почти без снега, с дождями и туманами. На другом берегу речушки дряхлый старик удил рыбу, монотонно гнусая себе под нос то ли заговор, то ли молитву. Очевидно, ни то ни другое не помогало, потому что в его деревянном ведре, наполненном до краев водой, плавала лишь одинокая тощая щучка.

Древний рыболов медленно приподнял веки и сонным немигающим взглядом уставился на Афанасия, сидевшего прямо напротив.

– Доброго здравия вам, дедушка, – поклонился ему Афанасий.

– Что, молодец, приуныл? – громко спросил дед, опустив приветствие. – Аль во дворец пробираешься? Знать, не пушают?

– Не пушают, – грустно подтвердил Афанасий.

– А за какой надобностью тебе во дворец-то? – хитро прищулив один глаз, поинтересовался старик.

– Хотел до матушки-императрицы дойти, – не стал кривить душой бывший колодник и, махнув рукой, с досадой добавил: – Да куда там!

– Эгей, братец, – подмигнул ему старик, – к Марье Федоровне нынче многие норовят попасть. Государь-то в отъезде. Энтю дело не простое, – погрозил он кому-то корявым пальцем и строго пояснил: – Без знакомств – вовсе невозможное.

– Да где же мне, простому человеку, их заиметь, эти знакомства?

– Энто как раз можно. – Старик напустил на себя важный вид. – Вот я, к примеру, лично знаком с Марьей Федоровной. Поставляю к ее императорскому столу пескарьков да подлещиков. И супруга ее покойного, государя Павла Петровича, царство ему небесное, тоже знал в свое время. Павел Петрович дюже охоч был до мелкой простой рыбешки, ущицу из нее любил. Принесу я во дворец ведро, а он выйдет, сам всему улову смотр произведет, каждой рыбешке. Говаривал мне, бывало: «Ну, Митрич, ох и уважил! Знатная будет уха!» Теперь-то здесь рыбы повывелись, настоящей рыбалки нет... Не-ет! – протяжно закончил старик, с неудовольствием косясь на щучку в ведре, которая замерла, шевеля плавниками, будто слушая его рассказ.

– Так ты, Митрич, проводи меня во дворец, – ухватился за последнюю надежду Афанасий, – а уж я в долгу не останусь.

– Погоди маленько, братец, вот охрану симут, тогда и проведу.

– То есть как, «охрану симут»? – удивился Афанасий.

– Солдатики сюда пригнали, как война началась, – пояснил старик. – А нынче что им тут делать, когда хфранцуз бит-перебит? Их бы и раньше по казармам распустили, да вот вздумалось Марье Федоровне устроить бал-маскерад с фейерверками. Солдатики делают строения всякие в парке да пушки маскируют в кустах. Даже меня не пускают, – с досадой добавил он, – дабы секретов их до поры до времени не выведал.

– И когда же состоится этот бал?

– Через неделю, слыхать. Потом охрану симут. Нечего им тут делать, когда хфранцуз бит-перебит...

Дед, подобно старой шарманке, у которой осталась только одна заунывная мелодия, начал бы рассказ сызнава, но Афанасий его уже не слушал. Он вдохнул полной грудью воздух, теплый, почти летний, пахнувший далекими цветами, и улыбнулся своим мыслям.

На другое утро, за самоваром, Афанасий, осторожно отпивая из блюдца горячий чай, поведал сестре и юной графине о своих похождениях в Павловске. Елена в это утро казалась особенно бледной и время от времени брезгливо морщилась. И Зинаида, и Афанасий уже догадывались, что девушку гложет какая-то болезнь. Ведь ее перевели в другую комнату, где не пахло ни ваксой, ни табаком, но юную графиню выворачивало по утрам пуще прежнего. Елена медленно размешивала ложечкой чай, а потом никак не решалась поднести чашку к губам.

– Думаю, надо подождать, когда снимут охрану дворца, – подытожил свой рассказ Афанасий, – всего какую-нибудь неделю.

– Неделю слишком долго, – неожиданно вмешалась Зинаида. – К тому же императрица может после бала уехать куда-нибудь, например, к сыну в Германию. Она ведь наверняка соскучилась по нему. И тогда весь ваш план коту под хвост!

– Об этом я ничего не знаю, – растерялся Афанасий, – но могу узнать.

– Нужно действовать немедленно, если хотите чего-то добиться, – настаивала Зинаида.

– Ты не представляешь, сколько там солдат. Мы не сможем пробраться во дворец незамеченными...

– А во время бала? – тихо спросила Елена. – Во время бала, в суете, под покровом ночи?..

– Над этим надо покумекать, – задумался вслух бывший разбойник. – Солдаты будут заняты фейерверками, офицеры, могу ручаться, перепьются. Сама императрица будет в хорошем расположении духа. Я раздобуду у деда Митрича лодку, и мы приплывем в парк по реке. Да вы просто умница, Елена Денисовна! – радостно воскликнул он.

Елена слабо улыбнулась и наконец решилась поднести чашку к губам, но, сделав глоток, в тот же миг закрыла руками рот, вскочила и выбежала.

– Не знаю, что делать, братец, – нахмурилась Зинаида. – Графиня больна. Ее надо показать доктору.

– У тебя есть знакомый доктор?

– Теодор Шулле. Он здесь считается лучшим.

– Опять немец! – возмутился Афанасий. – Вокруг тебя одни немцы!

– На Васильевском каждый второй немец, – пожала плечами она. – Да разве в этом загвоздка?

– А в чем?

– Как ты не понимаешь, братец? Если я позову доктора, на следующий день сюда явится квартальный с проверкой. Какие такие гости поселились у меня?

– Квартальный все равно что нож под дых, – согласился он, – этого зверя лучше обходить стороной.

– Терентий Лукич рано или поздно все вынюхает, – упавшим голосом сказала она и тут же предложила: – Тебе надо схорониться где-нибудь до поры до времени. Графиня пускай поживет у меня. Выдам ее за дальнюю родственницу... К женщине придираются не станут.

– Куда же мне съехать? – задумался Афанасий. – У меня никого, кроме тебя, здесь нет.

– На Охту, – подсказала Зинаида. – Там ведь были у тебя дружки-приятели?

– Такие дружки, что донесут на меня сей миг, едва заприметив. Нет, на Охту никак нельзя. А вот если... – Его лицо вдруг просветлело. – Ну конечно! Как же мы сразу до этого не додумались? Ты должна свести меня с местной общиной, а уж братья найдут куда пристроить.

Такого поворота Зинаида не ожидала, но тут же нашлась.

– Здесь нет никакой общины, ее давно разогнали! – огорошила она брата и, не дав ему опомниться, запричитала: – Господи! Я давно должна быть в лавке... – И бросилась вон из комнаты.

Оставшись один, Афанасий еще долго смотрел на дверь, за которой скрылась сестра. Потом перевел взгляд на стену, откуда собственноручно снял старые дедовские иконы. Вместо них на выгоревших обоях красовались темные следы, смотревшие на него с недоброй внимательностью, как подслеповатые старческие глаза.

Глава четвертая

Один весьма неудачный обед

Сегодня была получена неутешительная весть, что в силезском городе Бунцлау слег с тяжелой простудой фельдмаршал Кутузов. Простые люди восприняли это известие со страхом. «Что же теперь будет с нашей армией?» – задавались они тревожным вопросом, не подозревая, что светлейший князь уже давно только формально является главнокомандующим. Граф Федор Васильевич Ростопчин, ехавший с супругой и младшей дочерью Лизой в губернаторской карете, сказал по этому поводу в крайнем раздражении:

– Старик умирает в лучах славы и будет навеки записан в герои, в спасители Отчизны. Полководец, который не выиграл ни единого сражения у француза, позорно отдавший Москву на растерзание Зверю, проспавший корсиканца на Березине...

– Мой друг, не надо так волноваться, – перебила его графиня, накрыв ладонью трясущуюся руку мужа.

Лиза все время пути смотрела в окно и, казалось, не вникала в разговор взрослых, но когда отец в сердцах бросил: «Почему государь прощает ему все и почему не прощает другим?», в ее взгляде отразились боль и сочувствие.

Был ли в истории еще подобный случай, когда полководец так дерзко гипнотизировал своего государя, отводя ему глаза от истинного положения дел? Кутузов после жесточайшей и упорной Бородинской битвы рапортовал Александру о победе, что, по самым мягким оценкам, не соответствовало истине. Русские войска уступили французам свои позиции, ввели в бой весь резерв, в то время как Наполеон придерживал до конца доблестную гвардию и сохранил ее для дальнейших битв. За вымышленную победу император молниеносно присвоил Кутузову звание фельдмаршала и наградил вечной пенсией в размере 25 тысяч рублей, которая после его смерти переходила к родственникам. Москва превратилась в черные руины, забитые трупами и полутрупами, населенные голодными одичавшими людьми... Разве это было единственно возможное решение – сдать столицу без боя? Что было в нем гениального, кроме абсолютного цинизма? «Князь Кутузов не желает ничего лучшего, как не сражаться, не командовать и вас обманывать...» – писал Ростопчин Александру, но государь, в отличие от своего отца – императора Павла, не любил грубой откровенности и оставлял письма графа без ответа. На самом деле ближайшее окружение Александра знало, что сдача Москвы и обнаружившийся вскоре обман явились для него страшным потрясением. Первым порывом императора было отстранить Кутузова от командования, но то ли в силу слабости характера, то ли побоявшись обезглавить армию в острый момент, он этого не сделал. «Почему России так не повезло?! – восклицал про себя граф. – В годину самых страшных испытаний на троне оказалась не всемогущая Екатерина, не одержимый Павел, а какое-то манерное пухлое облако, все состоящее из противоречий!» В такие минуты он ненавидел Александра и едва сдерживал крамольные высказывания.

– Оставьте князя Кутузова в покое, мой друг, – продолжала успокаивать его Екатерина Петровна. – Он мог обмануть государя, но невозможно будет обмануть потомков. Они осудят его, ведь никому еще не удавалось лгать после смерти.

От Кутузова и Александра беспокойные мысли Федора Васильевича перекинулись на собственные неприятности. В последние дни он пребывал в самом волнительном состоянии. Главный полицмейстер Ивашкин докладывал каждый день о происках молодого Бенкендорфа. Кажется, тот собрал уже достаточно материала о казни купеческого сына Верещагина, чтобы сделать подробный доклад императору. И помогла ему в этом любимая дочь Ростопчина, Натали! Граф отчасти оправдывал ее, понимая, как она страдает от московского бойкота, как

ждет не дождется папенькиной отставки и переезда в Петербург. Наивная дуручка! Неужели она думает, что в Петербурге их положение изменится? И все же он приказал Ивашкину не трогать Бенкендорфа, не чинить ему препятствий. Им овладел не свойственный его натуре фатализм. Он уже предвидел скорый конец своего губернаторства.

С каждым днем жизнь в этом городе становилась для его семьи все несноснее. Кто-то упорно распространял по Москве слух, будто бы губернатор, выдающий себя за героя Герострата, истинного патриота, на самом деле закопал все свои сокровища в подземельях Воронново, а потом поджег дворец, в то время как москвичи по его приказу лишились и крова, и имущества. К нему стали приходиться анонимные письма с обвинениями и угрозами. В одном письме прямо было указано, что графу следует выкопать вороновские сокровища и, присовокупив к ним товары из магазина мадам Обер-Шальме, все продать, а вырученные деньги раздать несчастным погорельцам. «Обер-Шальме – вот где собака зарыта!» – восклицал про себя Ростопчин. Вернувшись в погорелую Москву, он вполне справедливо чувствовал себя победителем, а у всякого победителя должны быть свои трофеи. Он конфисковал товары из богатейшего французского магазина в свою пользу. Если бы не этот досадный случай, на который, кстати, даже государь закрыл глаза, тогда бы, может, люди и поверили в бескорыстие губернатора. «Но ведь я потерял в сотни раз больше, чем взял у проклятой француженки! Как ОНИ этого не поймут?» ОНИ, то есть москвичи, не желали ничего понимать. ОНИ потеряли все и взять им было неоткуда. Поэтому ОНИ будут поносить его имя до скончания века. Поэтому его семья будет вынуждена покинуть этот город.

Граф закрыл глаза, и перед ним на мгновение предстал величественный дворец Воронново, его гордость, «любимая берлога», как он любил шутить. Он мог жить с семьей в этом поместье круглый год безвыездно. Купив его восемь лет назад у своего друга графа Воронцова, Федор Васильевич преобразил усадьбу и парк, улучшив их во сто крат. Он собрал уникальную коллекцию картин и скульптур со всей Европы. Оранжереи были полны экзотических деревьев. В конюшнях жевали овес арабские скакуны, английские буцефалы и представители других знаменитых пород. Каждая лошадь стоила целого состояния. Он даже вывел собственную породу лошадей, которая получила его имя – ростопчинская. Исполинские бронзовые кони стояли при входе во дворец, словно египетские сфинксы, стерегущие покой хозяина. Именно здесь, под этими конскими статуями, шестого сентября двенадцатого года, после исхода из Москвы, он приказал дворовым людям разжечь большой костер. Здесь же биваком расположились генералы и офицеры, сопровождавшие Ростопчина в поисках генерального штаба армии. Дворовые люди вынесли из погребов вина и разносолы.

– Побалуемся напоследок рейнвейном и токаем, господа! – предложил он присутствующим под одобрительные возгласы и, поднявшись со своего места, с торжеством добавил, кивнув на дворец: – Утром я превращу все это в пепел.

Сидевший рядом генерал Алексей Петрович Ермолов поднял на него удивленные глаза, маленькие и умные, как у дрессированного медведя. Его brutальное, резко очерченное лицо с мясистыми щеками приняло недоверчивое выражение. Пожав плечами, он сказал:

– Полноте, уgomонитесь, граф! Вон как матушка Москва полыхает, даже отсюда видать. – В ночном небе действительно высоко стояло зарево от московского пожара. – Вам этого мало?

– Не понимаю вас, граф, – недоумевал английский комиссар при русском дворе Роберт Вильсон. – Как можно уничтожить собственный дом?

– Он слишком мне дорог, сэр, – попытался объяснить Ростопчин. – Я не смогу спокойно жить, если по его анфиладам будут маршировать французы, касаться грязными руками дорогих мне вещей, спать на моем брачном ложе, устраивать оргии в комнатах моих дочерей.

– И все равно ваши меры слишком радикальны, – неодобрительно качал головой англичанин.

– Если мы не смогли защитить наш дом, – продолжал Федор Васильевич, обращаясь к офицерам, – значит, должны предать его огню... – И вдруг неожиданно для всех сорвался на крик: – Кутузов – мерзавец, господи! Он обманывал и меня, и государя, обещал до последней капли крови защищать Первопрестольную! Он сообщил мне о своем решении слишком поздно! У меня была всего одна ночь и полдня на сборы! Я не успел все вывезти из Кремля, черт возьми! И никто бы не успел за такой короткий срок, среди всеобщей паники. Я никогда ему этого не прощу!

– Успокойтесь, граф, – схватил его за руку Ермолов и с силой усадил на место. – Мы всё это прекрасно знаем и ни в чем не обвиняем вас. Я был в Филях и голосовал против оставления Москвы. Мы все шли на совет с намерением лечь костями под Москвой, и Старику ни за что бы нас не убедить в обратном, если бы не Барклай.

– Чертов шотландец! – заскрипел зубами Ростопчин и готов был снова вскочить, но Ермолов удержал его, крепко обняв за плечи.

– Барклай отверг оборонительную позицию, выбранную под Москвой бароном Беннигсеном из-за ее слабости, – продолжал Ермолов. – Он разгромил доводы барона по всем статьям и заявил, что, сохранив Москву, мы можем потерять всю армию, и тогда России не устоять.

– Вздор! Полнейший вздор! – не унимался Федор Васильевич. Его лицо потемнело, налившись кровью.

– Если бы вы, граф, были на совете в Филях, то, пожалуй, Барклай тоже сделался бы одноглазым, – пошутил Вильсон, вызвав горькие усмешки на лицах офицеров.

– Я понимаю ваше возмущение, дорогой граф, разделяю его, но позвольте с вами не во всем согласиться, – задумчиво проговорил Ермолов, один не улыбнувшийся на шутку англичанина. – Слова Барклая можно высечь золотыми буквами на мраморе, он был, по сути, прав, но... Как вы верно заметили, он – шотландец, и ему не понять, что для русского сердца значит Москва. Старик во время его речи шарил взглядом по нашим перекошенным лицам и был весьма доволен тем, что Барклай проделал всю черную работу за него. Он переубедил Раевского, Остермана и Толя. Однако Платов, Дохтуров, Коновницын, Уваров, Беннигсен и я остались при своем мнении.

– Но вами руководил зов сердца, генерал, а не доводы разума, не так ли? – заметил англичанин, за что был награжден свирепым взглядом Ростопчина.

– Видите ли, сэр, – спокойно отвечал ему Ермолов, – у военных есть такое понятие, как «сила духа». Сила духа необычайна в русском солдате. Тому доказательством, если не вдаваться далеко в историю, может служить хотя бы Бородинское сражение. Да, возможно, наша армия погибла бы под Москвой, но уверяю вас, французская тоже бы не уцелела. Мы бы спасли и Москву, и Россию. Это я знаю точно. Это знают Платов и Коновницын, Дохтуров и Уваров. Знали Багратион и Кутайсов... светлая им память...

– А Кутузов? – задиристо спросил Вильсон. – Неужели он не верит в «силу духа» русского солдата?

Вокруг костра установилась глубокая тишина. Все ждали, что ответит дипломату русский генерал. Алексей Петрович так и сидел, обняв графа Ростопчина за плечи. Тот низко склонил голову, запустив скрюченные пальцы в непослушную шевелюру. Таким образом он удерживал себя, чтобы вновь не сорваться и не наговорить Вильсону дерзостей.

– Надо признать, сэр, – начал после томительной паузы Ермолов, – что Кутузов старый и опытный царедворец и имеет все, присущие царедворцам, качества. Он трусоват, сластолюбив, угодлив и во всем ищет только собственную выгоду. Назначение его главнокомандующим было роковой ошибкой. Государь этого не желал, но вынужден был согласиться с решением Чрезвычайного комитета. Лично я предпочел бы видеть на его месте Барклая, или, на худой конец, Беннигсена...

– Барон Витгенштейн также очень талантлив, – вставил кто-то из офицеров, – но опять же немец и не полный генерал...

– Кто знает, прав главнокомандующий или не прав? – раздался вдруг надтреснутый, ранее неслышный голос. Все разом повернулись в сторону говорившего. Худой немолодой офицер, кутаясь в плащ, смотрел в огонь костра остановившимся взглядом, в котором сквозило нечто безумное. Он, казалось, говорил сам с собой, не заботясь о том, слышат ли его остальные. – На все воля Божья... Если он назначен на этот пост, значит, Богу было угодно, чтобы пришел такой день, как нынешний. Он рапортовал о победе... Мы возмущаемся, считая это ложью, но может, он сам видит в случившемся нечто, что скрыто от наших глаз? Быть может, в этом великом несчастье заключен Божий промысел, и наши потомки его узрят и покроют славою то, что мы нынче проклинаяем...

– Я, сударь, не богослов, не мистик, я военный! – прервал его наконец Ермолов, первым очнувшийся от странного оцепенения, в которое поверг присутствующих этот тихий монолог. – О чем я на месте главнокомандующего мог бы рапортовать государю? О том, что мы ушли со своих позиций и проиграли Бородино. О том, что мы потеряли слишком многое, не приобретя ничего взамен. Об этом! – Он взмахнул рукой, широко обводя разлившееся по небу зарево. – Вот что было бы правдой, а все иное – ложь!

– Светлейший князь Суворов никогда бы не допустил такого позора... – процедил сквозь зубы Ростопчин. Он больше не мог удерживать слез, которые весь день были близко. Зарево над Москвой, поднявшееся уже до самых звезд и погасившее их, превратило ночь в странный багрово-серый день. Это адское освещение действовало ему на нервы, изорванные последними событиями. Он заплакал, прикрыв глаза трясущейся ладонью.

– Ну-ну, полноте, граф, – снова подбодрил его Ермолов. – Давайте выпьем за победу! – Он схватил бутылку рейнского, ловко отбил саблей горлышко и громовым хриплым голосом воскликнул: – Не за ту мнимую победу, о которой доложили государю, а за настоящую! За победу, которая будет за нами, господа!

Все дружно поддержали его тост, и вино полилось рекой.

Между тем, немного успокоившись, Федор Васильевич занялся неотложными делами поместья. Принял депутацию от крестьян, которые просили, чтобы барин разрешил им покинуть деревню и идти вслед за отступающей армией. Однако он приказал им вместе с дворовыми людьми следовать в его Орловское имение, но перед этим распорядился, чтобы они открыли конюшни и увели как можно дальше лошадей. Через час крестьяне с семьями молча покидали Вороново. В движении этих темных фигур с узлами на фоне алого неба было что-то невыразимо зловещее. Даже самые маленькие дети не плакали, а, семена рядом с матерями, разглядывали московское зарево, становившееся все ярче и, казалось, ближе.

Рассвет был едва заметен в ту странную, слишком светлую ночь. Маленькое красное солнце поднялось еле-еле и теперь, раздраженно мигая, шурилось сквозь дымную завесу. Вдалеке слышалась перестрелка.

– Наш арьергард снова ввязался в драку с французами, – заметил Ермолов и скомандовал: – Пора в путь!

Он плохо спал эту ночь, но выглядел бодрым. Лишь покрасневшие глаза и охрипший голос выдавали накопившуюся многодневную усталость. Офицеры, прикорнувшие вокруг догоревшего костра, зашевелились под дорожными плащами и стали садиться.

– Погодите, господа! – обратился к ним Ростопчин. Он стоял на крыльце усадьбы, сжимая в руке зажженный факел. Остальные факелы, заготовленные, но еще не зажженные, он держал другой рукой на отлете, как букет из черных смоляных цветов. – Вы должны мне оказать одну услугу...

Окончательно проснувшиеся офицеры живо взялись за дело. Одних он послал к опустевшим конюшням, других – к молочной ферме. Ермолов и Вильсон еще раз попытались отго-

ворить графа от опрометчивого поступка, но тот был непреклонен. В их сопровождении он вбежал во дворец и решительно начал поджигать одну комнату за другой, пока не дошел до супружеской спальни. На ее пороге он замер, словно натолкнулся на невидимую преграду.

– Вот моя брачная постель, – сказал он своим спутникам, – у меня не хватает духу поджечь ее. Избавьте меня от этой тяжелой обязанности.

Вильсон отвернулся. Все происходящее он мог бы назвать одним словом – варварство. Ермолов молча взял из рук хозяина дома факел и вошел в супружескую спальню. Через миг постель пылала. В следующий раз граф задержался в комнате Лизы. Здесь его «ангельчик» сделал первые шажки, здесь дочка сказала свое первое слово – «папа», правда, с ударением на последнем слого. На стене висел портрет трехлетней девочки, играющей с котенком, работы художника Сальватора Тончи. Итальянец постоянно жил у него в доме и писал портреты домашних. Маленькая плутовка капризничала, не хотела позировать, выклянчивая тем самым конфеты, которыми отец награждал ее за долготерпение...

– Граф, надо уходить! – услышал он встревоженный голос Ермолова. – Французы уже близко.

Ростопчин бросил факел на кровать Лизы и, едва сдерживая рыдания, выбежал из комнаты. Через четверть часа весь дом был охвачен рычащим от жадности пламенем. Когда офицеры садились в седла, бронзовые кони, украшавшие вход во дворец, не выдержали страшного жара и рухнули так, что земля под ними затряслась.

На воротах домашней церкви граф оставил дощечку с надписью по-французски: «Я потратил восемь лет на украшение этого дома и жил здесь счастливо в лоне семьи. Все население поместья, в количестве 1720 душ покидает его, а я по собственному побуждению поджигаю свой дом, чтобы вы не осквернили его своим присутствием. Французы! Я бросил в Москве два дома с обстановкой, стоившей до полумиллиона. Здесь вы найдете только пепел».

Воспоминания о том дне всякий раз отдавались болью в груди Федора Васильевича, но он ни секунды не сожалел о содеянном. Его близкий друг, поэт Сергей Глинка говорил в одном из московских салонов, защищая губернатора от нападок: «Да, трудно поверить, господа, что человек собственноручно сжигает миллионное состояние, пусть из любви к Отчизне или в силу необузданного характера, или, наконец, просто из брезгливости... Но я слишком хорошо знаю графа, чтобы на секунду в этом усомниться». Однако москвичи сомневались. Они верили в фантастические подземелья Воронова, в которых спрятаны ростопчинские сокровища, и считали, что весь его оголтелый патриотизм не больше, чем риторика, в которой губернатор любому мог дать сто очков вперед.

– Папенька, долго нам еще ехать? – отвлекла Федора Васильевича от грустных мыслей Лиза.

– Да мы уже на месте...

За окном кареты высился грандиозный черный остов Петровского театра, который восемь лет мозолил москвичам глаза. Нынче на фоне общегородского пепелища он ничем не выделялся и смотрелся привычно, как старый знакомый, который заходит в гости запросто, без приглашения. Рядом с останками театра ютился скромный деревянный домик, чудом уцелевший после двух пожаров. Он принадлежал известному антрепренеру Михаилу Егоровичу Медоксу, давнему приятелю Ростопчина.

Миккоэл Медокс был некогда приглашен в Петербург императрицей Екатериной для преподавания математики и физики ее сыну, великому князю Павлу. Однако таланты англичанина этими сухими науками не ограничивались. Уникальные часы, сделанные его руками, украшали лучшие дома Европы и признавались настоящими произведениями искусства. Но главным смыслом жизни Медокса было нечто иное... Двадцать пять лет упорного труда он посвятил Петровскому театру или, как его иначе называли, Оперному дому, являясь его посто-

янным директором. Он поставил более четырехсот опер, балетов и драматических спектаклей, вызывавших восторг публики. Однако театр в конце концов его разорил. В последние годы перед пожаром постановки осуществлялись уже за счет казны. Средств на восстановление Петровского, сгоревшего в 1805 году, у Медокса, разумеется, не было. Не было их и у государства. Бывший генерал-губернатор Москвы Гудович отказал Михаилу Егоровичу в самой резкой форме, посчитав его просьбу оскорбительной. «Тياتры в России должно возводить частным капиталом, а не на средства казенные, кои предназначены для благих целей», – проблеял дряхлый старик, указав антрепренеру на дверь. Оставалось только гадать, какие «благие цели» имел в виду Гудович, если учесть, что под его патронатом происходили неслыханные случаи обогащения чиновников за счет казны. Назначение губернатором Ростопчина вселило в Медокса некоторую надежду. Граф считался заядлым театралом, и даже сам сочинял комедии, которые, правда, сжигал по прочтении друзьям. К тому же из уст в уста передавали, что однажды он сказал в своей обычной патетической манере: «Гибель Петровского театра – это удар по русской культуре!» Федору Васильевичу было известно, что театр сгорел по вине гардеробщика-француза, и это обстоятельство не могло оставить его равнодушным. Так или иначе, в этот солнечный апрельский день губернатор с семьей ехал к Медоксу на обед.

– Не понимаю, зачем вы приняли приглашение этого жида, да еще в такое время, на пасхальной неделе! – возмущалась Екатерина Петровна, выходя из кареты и ступая в непролазную грязь, которой славилась Петровка.

– Как же, матушка? Я ведь давеча обещал показать Лизе красивые часики.

Федор Васильевич подхватил девочку на руки и заговорщицки подмигнул ей. Лиза крепко обняла отца за шею и, уткнувшись ему носом в щеку, лукаво улыбнулась.

Надо сказать, вообще происхождение Медокса было для всех загадкой. По документам он значился англичанином, подданным Ее Королевского Величества, но москвичи упорно называли его «жидом». Причиной тому была его семитская внешность, да еще предприимчивость, свойственная восточным людям. Сам Медокс утверждал, что род его восходит к древним финикийским племенам. «Да будь ты хоть трижды финикийцем, Миша, – сказал ему как-то Ростопчин, – заслуги перед нашим Отечеством давно превратили тебя в русского!» Медокс довольно улыбался и ничего на это не возражал.

В данный момент для антрепренера наступили самые тяжелые времена с той поры, как он появился в России. Один из его многочисленных отпрысков (Медокс был любящим отцом одиннадцати детей) ныне отбывал наказание в Шлиссельбургской крепости. Дезертировав из армии, старший сын Медокса Роман собрал у множества благотворителей миллион рублей на вымышленное кавказское ополчение, но был вовремя уличен в мошенничестве и доставлен в Петербург. Многие в эти дни отвернулись от старика, чтобы не запятнать себя знакомством с отцом авантюриста. Тем не менее Михаил Егорович разослал приглашения на обед самым богатым и влиятельным людям города. Это было сродни безумию. С тем же успехом этих аристократов мог приглашать в гости будочник, охранявший подступы к сгоревшему театру. Никто не ответил знаменитому антрепренеру, только – что также казалось безумием – губернатор с супругой и дочерью пожаловали к нему в гости.

– Дорогая графиня, я счастлив! Граф, я бесконечно рад встрече! – выбежал навстречу карете хозяин дома. – Мы, кажется, ни разу не виделись с тех пор, как вы губернаторствуете, а ведь встречались когда-то еще при дворе матушки Екатерины...

Супруга Медокса, бесцветная особа, увядающая от бесконечных родов, приветствовала гостей робко, будто зная за собой некую вину. Екатерина Петровна, здороваясь, смотрела не в глаза хозяйке, а прямо в центр ее лба, украшенного жидкими светлыми кудельками. Она была вне себя от негодования и не очень старалась это скрыть. Гостей провели в тесную гостиную, уставленную старомодной мебелью. Екатерина Петровна огляделась с леденящим душу презрением и присела в предложенное кресло так осторожно, будто боялась испортить платье.

Хозяйка улыбалась бледными губами и не решалась начать разговор. Мужчины поспешили уединиться в кабинете.

– Зачем звал? Не темни! – напрямик спросил хозяина Ростопчин, едва они остались наедине. – Если хочешь, чтобы я просил за твоего сына перед государем – уволь. Сам едва держусь в губернаторском кресле, да и сын твой так прогремел на всю матушку Россию, что послабления для него не жди.

– Да что вы, что вы, граф! – замахал на него руками Медокс. – Роман – отрезанный ломоть. Не то что просить за него не пойду, знать его больше не желаю! – ударил он кулаком по столу. – Опозорил отца на старости лет.

Ростопчин был прекрасно осведомлен на этот счет. Он лично собирал сведения о Романи Медоксе для министра полиции Вязьмитинова и знал, что старик выгнал сына из дома за распутство, когда тому минуло всего шестнадцать лет. С тех пор они не поддерживали никаких отношений.

– Тогда что же? – задумался на мгновение граф и вдруг, осененный внезапной догадкой, воскликнул: – Неужели денег хочешь просить на театр?!

– Я подумал, раз уж государь выделяет средства на восстановление города... Может быть, и Петровский восстановим?

Губернатор издал сдавленный стон, тяжело вздохнул и признался:

– Дело в том, мой дорогой друг, что государь не больно-то расщедрился. Выделил на Москву всего двадцать миллионов, тогда как, по самым скромным подсчетам, требуется полмиллиарда, а то и целый миллиард. О чем ты изволишь просить?

– Я построил Петровский всего за сто тридцать тысяч рублей... – робко начал тот, но Федор Васильевич его перебил:

– Когда это было? В восьмидесятом году? Нынче лес дороже втрое против довоенного. О прочем уж не говорю!

– Господи! – всплеснул руками Медокс. – Что же мне делать? Где взять денег?

– Сейчас никто не даст, – покачал головой граф. – Погоди немного, дай Москве отстроиться.

– Мне уже шестьдесят шесть, – сообщил упавшим голосом антрепренер. – Как долго еще ждать? Я хотел выстроить новый театр и помереть со спокойной душой.

– Ну, рано еще себя хоронить, – подбодрил его Ростопчин. – Увидишь еще свой ненаглядный Петровский во всей красе.

Михаил Егорович подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу и вдруг, сменив грустный тон на вдохновенный, заговорил:

– А может, и к лучшему, что прежнего Петровского больше никогда не будет. Вместо него я вижу Большой оперный дом. – В его темных глазах загорелись огоньки. – Не стоило мне строить парадное крыльцо с выходом на Петровку. Каретам негде развернуться, да и вообще тесновато и грязненько. Парадное крыльцо театра должно выходить на эту площадь, никак иначе.

– На какую площадь? – удивился губернатор. На миг ему показалось, что он имеет дело с безумцем, утратившим здравый смысл среди семейных и финансовых неурядиц.

– Да на эту же! – Медокс снова ударил пальцами по стеклу.

В окне стоял густой туман, поднимавшийся от серой, непролазной топи с островками почерневшего снега. Болото простиралось до самой речки Неглинки, вонючей, загрязненной вековыми стоками большого города.

– Опомнись, дружище, ведь там болото, – фыркнул Ростопчин. – Всегда было болото и всегда будет.

– Ерунда, – отмахнулся знаменитый механик, бывший преподаватель математики и физики. – Неглинку надо замуровать в трубу, и тогда болото высохнет. Я уже все подсчитал

и вычертил, даже показал кое-кому чертежи. Здесь, перед театром, должна быть площадь! На ней надо разбить клумбы и фонтаны, как в Петергофе...

Михаил Егорович продолжал расписывать свой проект, но губернатор его уже не слушал. Ему вдруг привиделась незнакомая площадь с фонтанами и толпа людей. Люди что-то возбужденно обсуждали и указывали пальцами в сторону фонтана. Он шел туда, а толпа покорно расступалась, расчищая ему дорогу. Наконец он увидел то, что было предметом общего ужаса и любопытства. В фонтане лежал человек, вернее, то, что от него осталось. Вместо лица у человека был кусок отбитого мяса, без глаз, без носа и рта.

Федор Васильевич с трудом стряхнул с себя наваждение. В последние дни купеческий сын Верецагин являлся ему в самые неподходящие моменты.

– Идея замечательная, – холодно похвалил он Медокса, – да только тут и тремя миллионами не обойдешься.

Старик будто проснулся, отрезвленный его голосом. Он тихо, несмело проговорил:

– Я знаю, что не доживу до того дня... Но вы должны мне пообещать, что все будет именно так, как я задумал...

– Ничего я не могу обещать, – раздраженно перебил граф, – потому что завтра меня погонят из Москвы взащей, и поминай как звали! Идемте-ка лучше к нашим дамам!

Когда садились за стол, неожиданно прибыл еще один гость – князь Белозерский, с которым Медокс едва был знаком. Илья Романович в последний момент решил принять приглашение опального антрепренера и отобедать у него, чтобы лишний раз напомнить Москве о своей фальшивой племяннице-авантюристке.

Он был крайне разочарован отсутствием гостей, зато его сын Борисушка несказанно обрадовался новой встрече с Лизой Ростопчиной. Детей усадили за отдельный стол, и они никак не могли наговориться, игнорируя замечательные блюда, которые присылал из кухни повар-француз, нанятый по случаю обеда в лучшем московском ресторане.

– Послушайте, князь, – обратился к Белозерскому губернатор, – кажется, вы уже полностью восстановили особняк Мещерских?

– Остались незначительные переделки, так, пара пустяков. – Илья Романович пошевелил в воздухе пальцами, будто сыграл октаву на невидимом клавесине. Боясь прослыть невежей, он никогда бы не признался Ростопчину, что собирается продать огромную библиотеку Мещерских и завести собственных дураков и дур, поместив их в перестроенный библиотечный флигель. Такими уловками он пытался утихомирить в себе тягу к картежной игре.

– Тогда почему бы вам не выделить часть средств нашему уважаемому Михаилу Егоровичу на постройку театра? – Граф незаметно подмигнул Медоксу.

– Да я бы с удовольствием! – ничуть не смутившись, воскликнул Белозерский. В последнее время к нему, новоявленному богачу, часто обращались с подобными просьбами. – Но разве я хозяин собственным деньгам?

– Как это изволите понимать? – строго спросил граф, уловив в словах князя некую издевку.

– На моем сундуке с деньгами, аки Цербер, восседает поляк Летуновский, – пояснил Илья Романович, – и блюдет каждую копейчку.

– Прогоните ростовщика – и дело с концом, – пожал плечами Федор Васильевич.

– Нет, дорогой мой граф, – погрозил ему пальцем Белозерский, – шутить изволите? Уж я-то себя знаю. Как только Летуновский слезет с моего сундука, я спущу денежки за неделю, а то и в три дня: на тиятры, на картишки, на... – Он откашлялся, покосившись на дам. – Водится за мной грешок, увлекаюсь. Пока все до дна не выскребу – не остановлюсь. Отцовское наследство за год профукал, – начал загибать пальцы князь, – приданое жены пошло в уплату картежного долга...

– Как говорится, и кашку слопал, и чашку об пол! – рассмеялся граф, снова подмигнув Медоксу. – Ай да князюшка! Каков транжира!

Старик ответил ему грустной кроткой улыбкой.

Ростопчин и не ждал щедрот от Белозерского, он только лишний раз хотел доказать Медоксу, что денег на постройку театра сейчас никто не даст. Даже те, кто не сильно пострадал от пожара, все равно придержат свой капитал, ожидая новых бедствий, которые в любой момент могут на них обрушиться. Пока жив корсиканец, пока бродит он со своей разрушительной армией по Европе, никто не может гарантировать спокойствия и благоденствия.

В это время за детским столом шла не менее оживленная беседа. Сын князя по обыкновению был превосходно одет. Его золотистый бархатный фрак, туго натянутые панталоны, галстук «фантази» и лаковые туфли были достойны завсегдатая парижских бульваров. Это роскошество даже смущало Лизу, которая вечно донашивала старомодные, почти уродливые платья с длинными рукавами и лифом, закрытым до самой шеи. Лиза в своем наряде напоминала маленькую сиротку-послушницу при женском монастыре.

– Вы больше не пишете стихов? – потупив взор, спросила она. По всей видимости, ей весьма польстили Борисовы стихи на бонбоньерке, поднесенные несколько недель назад на вечере у Ростопчиных.

– Я сейчас пишу трагедию, – с важным видом сказал Борис, но тут же честно сознался: – Правда, у меня плохо получается. Брат смеется над моими стихами.

– У вас есть брат? – удивилась Лиза. – Вы ни разу не говорили о нем. Он старше вас?

– Младше.

– Он, вероятно, еще ничего не смыслит в стихах, – махнула она рукой, одарив мальчика светлой улыбкой.

– Увы, Глеб очень умен, – со вздохом возразил Борисов и, убедившись, что отец не слушает их разговора, шепотом добавил: – Он читает книги на четырех языках.

– Не может этого быть, – не поверила девочка и, перейдя тоже на шепот, спросила: – А почему вы заговорили тише?

– Это тайна Глеба...

– Тайна? – широко раскрыла глаза Лиза. – И вы мне так просто выдали тайну брата?

– Это вышло само собой, – со стоном произнес он, сразу вспомнив все наставления Евлампии по поводу невоздержанности своего языка. Ему сделалось до того стыдно, что он едва не разревелся.

– Я тоже не умею хранить чужих тайн, – легко призналась Лиза и захихикала.

– Это правда? – У него сразу отлегло от сердца.

– Софьюшка частенько меня за это журит... Да бог с ними, с этими тайнами, – сделала она театральный жест, который выдал в ней юную кокетку. – О чем же, если это тоже не секрет, будет ваша трагедия?

– О любви... – Лицо Борисовки преступно зарделось.

– О любви к... девушке? – взволнованно уточнила Лиза, и щеки ее покрылись столь же красноречивым румянцем.

– О любви к... одной девушке, – едва шевеля губами, произнес маленький ловелас и, спохватившись, добавил: – И о любви к животным.

Лиза снова захихикала и сделала неожиданное признание:

– А я не всех животных люблю. У маменьки живет злой и противный попугай Потап. Он только и знает, что целыми днями себя нахваливает: «Потап Потапович Потапов – молодец!» А еще любит задира́ть всем юбки и кусать за икры. Ужасно больно!

Екатерина Петровна за все время обеда не произнесла ни слова и по-прежнему сидела с каменным лицом. Во-первых, она с равной неприязнью относилась к Медоксу и к Белозерскому, а во-вторых, беседа велась исключительно по-русски, а это она считала плебейством. К тому же Екатерина Петровна далеко не все понимала.

– Дорогая графиня, – наконец обратился к ней по-французски Медокс, – я приготовил для вас небольшой подарок.

Старику было хорошо известно, что, кроме религии, у графини есть еще одно страстное увлечение – птицы, и в особенности попугаи. В гостиной дома на Лубянке висел небольшой портрет юной Екатерины Петровны, сделанный каким-то заезжим австрийцем. Довольно миловидная девушка в ярко-красной шали держала на кончике пальца вытянутой руки зеленого попугая. Картина не отличалась высокими художественными достоинствами, но живописец умело польстил модели, и потому ее выставляли напоказ как свидетельство того, что некогда хозяйка дома была почти хороша собой. Сама она, к слову, была к своей внешности абсолютно равнодушна, полагая, что христианке иное отношение и не подобает, и картину не любила. «Вот маменька в юности не избегала красного цвета, – заметила как-то, глядя на этот портрет, модница Натали, – а нас заставляет рядиться в черные и серые тряпки. Ее попугаям дозволено больше, чем нам, ее дочерям!» Граф, помня о давнем увлечении супруги птицами, каждый год дарил ей на именины какую-нибудь экзотическую пернатую редкость. В доме была целая комната в виде клетки. Там жили птицы со всех концов света, от банальных канареек до редкостных колибри. Однако подлинными любимцами графини были все-таки попугаи. Избалованные хозяйкой, они беспрепятственно летали и разгуливали по всему дому, издевались над прислугой и домочадцами, доводя их порой до бешенства.

– Вот, примите от всего сердца. – Медокс снял с подоконника небольшую клетку, накрытую зеленым бархатом, и передал ее Екатерине Петровне.

Графиня приподняла покрывало и увидела парочку дремлющих неразлучников. Попугайчики сначала часто заморгали от света, а потом начали перебирать лапками на жердочке и низко кланяться, будто приветствуя новую хозяйку.

– До войны у меня жила парочка неразлучников, – никак не проявив радости, сообщила Екатерина Петровна, – но они не смогли перенести дороги. Я тогда многих птиц потеряла...

– Вот и восстановите потихоньку коллекцию, – произнес с заискивающей улыбкой Медокс.

Графиня, до этого не смотревшая ему в глаза и говорившая как бы сама с собой, наградила старика колючим взглядом и выдавила светскую улыбку:

– Не знала, что вы любите птиц.

– Ну как же, матушка, – обрадовался и такому знаку внимания старик, – люблю, как не любить? Вот хоть взять часы, изготовленные мною. На них всегда есть место для пташек небесных... – Он указал на часы с позолотой, стоявшие на комод. Их корпус был выполнен в виде готического замка, на крыше которого располагалось гнездо с аистами.

– Кажется, я видела однажды у антиквария Лухманова, – снисходительно припомнила Екатерина Петровна, – ваши часы с орлицей и орлятами. Каждые полчаса из клюва орлицы падала жемчужина, прямо в раскрытый зев орленка.

– Верно, матушка, это был «Храм славы». Я его делал тринадцать лет для самой императрицы Екатерины, но, увы, не дожила, голубушка. Царство ей небесное. – Медокс перекрестился на православный манер, что не ускользнуло от придирчивого взора Екатерины Петровны, поразив ее в самое сердце.

«Фокусник проклятый! – воскликнула она про себя. – Все играет с Богом, хотя уже пора подумать о душе...» Вероисповедание Михаила Егоровича, так же, как и его национальность, для многих оставалось загадкой. Был ли он выкрестом из иудеев, протестантом с рождения или, живя столько лет в России, принял православие – неизвестно. Во всяком случае, в церкви

его никто никогда не видел. А вот в молодости Михаил Егорович подвизался в роли фокусника и эквилибриста на петербургской сцене, об этом знали и помнили все.

Он еще долго рассказывал о своих часах, но графиня Ростопчина, решив, что уже оказала слишком большую честь хозяину, перекинувшись с ним парой фраз, его не слушала и слова не произнесла за весь вечер.

Тем временем князь Илья Романович разглагольствовал на тему нынешних законов, которые, на его взгляд, были слишком мягки и нуждались в ужесточении. Подведя итог своим речам, он в крайнем раздражении воскликнул: «Мошенников и прочих авантюристов надобно сразу ссылать в Сибирь на вечную каторгу!» На что граф спокойно, как бы невзначай, сказал:

– Кстати, ваша племянница не доехала до столицы...

– Откуда вам это известно?

Маленькие глазки Белозерского округлились от возбуждения. Он даже не сообразил тотчас отречься от родства, только что навязанного ему губернатором.

– От компаньонки-француженки, которую мы дали в сопровождение вашей родственнице, – невозмутимо пояснил Ростопчин.

– Вы... дали?! И где сейчас эта ваша француженка? – Руки князя начали предательски дрожать. Он вынужден был положить вилку и нож.

– Вернулась с полдороги. Где-то неделю назад. – Федор Васильевич с удовлетворением отметил состояние, в которое поверг Белозерского пустяковым сообщением, и с ухмылкой добавил: – Вам не о чем беспокоиться, дорогой мой князь. Ваше дело решилось в дешевом придорожном трактире на Костромской дороге. Именно там ваша племянница обрела наконец свое счастье.

– Что вы этим хотите сказать?

– Она обвенчалась с неким мелкопоместным дворянином, предложившим ей руку и сердце. Что ж, у каждого свой вкус! – Ростопчин хитро улыбнулся. – Как говорится, кто любит попа, а кто – попадью!

– Обвенчалась с первым встречным? – еще больше удивился Илья Романович, так что глаза его совсем выкатились из орбит. – Не может этого быть! Ваша француженка врет!

– Да уж, прямодушным этот народец никак не назовешь, – сел на любимого конька губернатор, – однако смею вас заверить, все компаньонки в нашем доме тщательно отобраны моей супругой именно по нравственному принципу. Они не посмеют нам лгать.

– Что бы это значило? Взяла вдруг да обвенчалась ни с того ни с сего! – не на шутку озадачился князь, нервно теребя пальцами жиденькие бакенбарды. – А вот что! – Он вдруг воздел палец к небу, и во взгляде его сверкнула молния. – Она нашла себе заступника, чтобы сообща с ним действовать против меня! У этого дворянина наверняка имеются связи в столице, иначе у него и шансов бы не было ею завладеть!

– Да побойтесь Бога, князюшка, – рассмеялся граф и похлопал его по плечу. – Не делайте из мухи слона. Сразу видно, что вы не романтик. Девушка попросту влюбилась и в данную минуту вовсю наслаждается идиллией деревенской жизни. Парное молочко, знаете ли, редиска с собственной грядки, курочки-уточки... А вы здесь мечете громы и молнии. Говорю вам, все устроилось к лучшему...

«Все к лучшему! Как же! – повторял про себя Илья Романович всю обратную дорогу, трясясь в карете. – Не такова эта мошенница, она еще не сдалась! Но я смогу ее опередить. Завтра же выезжаю! Любыми правдами и неправдами проберусь в Павловск! А там посмотрим... Но каков губернатор?! Сидел у меня за столом, пил-ел, а после подложил этакую плюху, отправил племянницу в Питер, да еще с компаньонкой, как важную даму! Нет, никому нельзя верить!»

– Папенька, а мы в ближайшее время поедem к Ростопчиным? – решился спросить Бориса.

– Я вижу, ты окончательно помирился с Лизонькой. – Князь погладил кудрявую головку сына. – Вот и молодец, голубчик. Она знатного рода, родители ее весьма и весьма богаты, надобно с нею дружить.

– Я вовсе не потому с ней дружу, – нахмурился Борис.

– Лизонька тебе нравится больше, чем Катенька Оболянинова? – проницательно спросил отец.

– Еще бы! – ничуть не смутившись, ответил мальчуган и страстно добавил: – Лиза красивее всех девочек на свете!

– Только вот что, дружок, придется тебе покамест наслаждаться обществом Катюши Оболяниновой, потому что завтра мы отбываем в Петербург. И попробуй-ка для нее тоже сочинить стишок... Девочки это любят.

Борисушка не ответил. Он отвернулся к окну, и слезы брызнули из глаз, как он их ни удерживал. Если бы его спросили, отчего он плачет, мальчик вряд ли сумел бы точно ответить. Он не хотел так скоро расставаться с Лизой, и ему было обидно, что отец не воспринимает всерьез его поэзию.

По прибытии домой князь велел немедля закладывать карету, объявив домочадцам и прислуге, что на рассвете отбывает вместе с сыном в Петербург.

Графиня Екатерина Петровна пилила супруга всю обратную дорогу, попрекая его нелепым обедом у нелепых людей, и под конец обращалась к мужу уже на «ты». Это означало у нее крайнюю степень недовольства и раздражения. Они уже подъезжали к дому на Лубянке, а граф все еще не произнес ни слова в свое оправдание. Зачем он поехал к Медоксу? А зачем нужно было в свое время обвинять в непочтении к великому князю Павлу знатных вельмож, ссориться с ними, доводить до дуэли? Зачем нужно было сидеть у постели умирающего опального Суворова, проливая над ним слезы, и навлечь тем самым на себя гнев императора Павла? Зачем?.. Он мог бы сказать супруге, что его долгом было навестить старого приятеля, президента и отвергнутого всеми, но вместо того он обратился к дочери:

– Понравились тебе часы, Лизонька?

– Еще как понравились! – подыграла ему маленькая плутовка. – Особенно те, которые играли менуэт, и барышни с кавалерами начинали плясать...

Графиня сразу по приезде домой уединилась в своей комнате и велела, чтобы ее никто не беспокоил. В такие минуты даже любимица Софья не решалась входить к матери.

«Этот английский жид вздумал дарить мне подарки, – кипела она от злости, – да еще крестится напоказ, изверг!» Безусловно, последнее обстоятельство больше всего задевало Екатерину Петровну, которая уже несколько лет была тайной ревностной католичкой. Если Медокс действительно принял православие, он сделался вероотступником относительно своей прежней религии, и то, что она в данных обстоятельствах уподоблялась ненавистному иноверцу, до судорог злило графиню. Ей мерещился в этом совпадении некий издевательский смысл.

Помимо попугаев и других заморских птичек был у графини особенный любимец. Прошлым летом на прогулке в Воронове она подобрала коршуна с подбитым крылом. Екатерина Петровна сама его выхаживала, лечила, и он сделался ручным, хотя никого, кроме графини, не признавал. Коршун жил в отдельной клетке и питался живыми мышами и крысами, которые закупались специально для него у сидельца из бакалейной лавки, где повар Ростопчиных делал закупки. Хитрый приказчик разом достигал двух целей: уменьшал поголовье грызунов, которых на складе с мукой, крупами и сахаром водилось множество, и получал недурной приработок.

Екатерина Петровна вошла с подарком Медокса в комнату, где жил коршун, ловкой, опытной рукой достала из клетки неразлучников и запустила их к своему любимцу.

– Какой у тебя сегодня замечательный ужин, милый мой Августин, – ласково обратилась она к коршуну. Графиня называла хищника по имени, только когда оставалась с ним наедине. Никто в доме не должен был знать, что она назвала его в честь митрополита Московского, преподобного Августина.

При виде коршуна попугайчики забились в угол клетки, прижались друг к другу и задрожали мелкой дрожью, издавая жалобный свист. Сердце графини не смягчилось. Она с холодным наслаждением наблюдала, как Августин разнес несчастным птичкам черепа и принялся жадно выклевывать из них мозг. Это стало хоть какой-то компенсацией за неудачный обед и испорченный день.

В этой же комнате стоял потайной шкаф с выдвижным алтарем. Здесь отцы-иезуиты совершали тайные обряды, в которых, кроме графини, участвовала еще и Софья. Екатерина Петровна очень надеялась, что в скором времени к ним присоединятся Лиза и тот, чье крохотное сердечко сейчас бьется в ее чреве. Она открыла шкаф, встала на колени перед распятием и, сложив на груди ладони, вознесла молитвы Всевышнему. В ее латынь то и дело вплетался довольный клекот сытого Августина, который пытался обратить на себя внимание любимой хозяйки.

В это время граф Федор сидел в кресле у камина, опустошенный и раздавленный. Он впился взглядом в уродливых чеканных химер, скопированных мастером-французом с фасада Нотр-Дам де Пари. Но губернатор не видел их дьявольских ухмылок. В руке он держал срочную депешу, в которой сообщалось: «16 апреля сего года, в половине десятого вечера, в городе Бунцлау скончался светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский...»

Глава пятая

Торговка табаком теряет брата и находит новую служанку. – Всегда ли посуда бьется к счастью? – Савельев встречает человека, готового на все...

Афанасий был настолько поглощен делами Елены, что ни разу не удосужился поинтересоваться у сестры, чем она, собственно, торгует. Табачная лавка, что находилась внизу, никаких подозрений у него не вызвала, и с Зинаидой он ее не связал. Но уже на следующее утро, оглядевшись и заметив, куда так часто исчезает сестра, он уяснил себе, что лавка внизу принадлежит именно ей. Прозрение было ослепительным.

«Как же я, дурак, сразу-то не догадался?! – стукнул он себя кулаком по лбу. – Она перекрестилась! Отступила от веры!»

Предать веру он считал самым страшным грехом, хуже грабежа или убийства. Ни секунды не раздумывая, парень схватил нож и побежал вниз.

Зинаида скучала за прилавком в ожидании покупателей, перетирая суконкой весы, когда ворвался Афанасий. По его звериному оскалу молодая женщина сразу все угадала, а увидев нож, поняла, что пришло время для объяснений.

– погоди, – заговорила она делано спокойным тоном, – я сейчас тебе кое-что расскажу...

– Не желаю ничего слушать! – взревел тот. – Я за нашу веру кандалы надел, муки принял, а ты, ты, паскуда... Лучше тебе издохнуть прямо здесь, среди табака поганого!

Зинаида помнила, что у брата слово с делом не расходится. Она не стала тратить время на уговоры, а резко выдвинула ящик стола, где лежала выручка. Там, в глубине, женщина прятала нож, который сослужил ей службу на похоронах мужа.

– Только подойди ко мне! Попробуй! – взмахнула она заточенным хлеботорезом. – Живо выпущу кишки!

Но Афанасий не был похож на рыхлых василеостровских лавочников, которых ей удалось напугать на кладбище. Он сделал шаг к прилавку, перехватил руку сестры и сжал ее так безжалостно, что пальцы Зинаиды онемели и нож выпал, криво воткнувшись в столешницу. Зинаида взвизгнула, оглушив своего противника, и, воспользовавшись его секундным замешательством, вырвалась и бросилась в подсобное помещение. Оттуда было два выхода. Черная лестница вела наверх, в кухню, а дверь – на задний двор-колодец, вечно темный и сырой. Мгновенно сообразив, что со двора ей деться некуда, там ее ждет неминуемая смерть среди мусорных ящиков и вонючих зеленых луж, женщина побежала наверх. Она звала Хавронью, но та не откликалась. «Дрыхнет, проклятая, в своем чулане, бревно-бревном!»

Из кухни, опасаясь там задерживаться, Зинаида молнией кинулась в гостиную. Она помнила, что дверь этой комнаты, которой вообще пользовались редко, запирается на маленькую задвижку. Ее некогда приделал Евсей неизвестно от каких воров. Захлопнув за собой дверь в гостиную, женщина перевела дыхание. Дальше бежать было некуда. С задвижкой брат справится в пять секунд, ему ничего не стоит вышибить дверь. Она уже решила выскочить в окно, когда вдруг услышала слабый бесцветный голос:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.